

ЛЕОНИД ГРОССМАН

ЦЕХ ПЕРА

СТАТЬИ О ЛИТЕРАТУРЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ФЕДЕРАЦИЯ“

МОСКВА
1 9 3 0

СОДЕРЖАНИЕ

IV

Исторический фон «Выстрела»	203
Культура писем в эпоху Пушкина	236
Портрет Лувеля	246
Пушкинский уголок.	255
Женитьба Дантеса	264
Дантес и Николай I	279
Пушкин в 1823 г.	290

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН «ВЫСТРЕЛА»

I.

Сильвио в пушкинском «Выстреле» обильно и как бы намеренно наделен резкими фантастическими чертами. Пушкин последовательно кладет на его облик тона зловещей загадочности.

«Какая-то таинственность окружала его судьбу», — сообщает он с первых же строк своего рассказа. «Имея от природы романическое воображение, — говорится далее, — я всех сильнее... был привязан к человеку, коего жизнь была загадкой и который казался мне героем таинственной какой-то повести...» И далее: «Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему вид настоящего дьявола...»

В последней главе появление Сильвио наводит ужас; при взгляде на него все цепенеют («я почувствовал, как волосы стали вдруг на мне дыбом»; «люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели»); его дьявольская усмешка запоминается беспечным графом навсегда.

В таком демоническом обличьи, «героем таинственной какой-то повести» выступает перед нами этот мстительный бреттер с итало-испанским именем романтического героя и зловещим профилем гофманского персонажа.

Но, как обычно у Пушкина, мотив волшебной фантастики облекается в живую плоть конкретных бытовых деталей. Многие из них глубоко вводят образ в характерную человеческую среду, создают вокруг него определенный жизненный фон, окружают его такими четкими признаками эпохи и нравов, что понемногу сказочный герой раскрывает в своем магическом облике черты подлинного исторического лица.

При сопоставлении первой новеллы Белкина с некоторыми документами и материалами эпохи, мы начинаем различать под сардонической маской Сильвио довольно явственный облик одного пушкинского современника. И если мы пристально взглянем в забытые черты этого весьма любопытного, отчасти загадочного для окружающих, но вполне реального лица, нам, вероятно, удастся вскрыть довольно точную художественную портретность фантастического героя «Выстрела».

II

Когда в сентябре 1820 г. Пушкин приехал в Кишинев, там жил один весьма оригинальный и всем известный военный — подполковник Иван Петрович Липранди.

Личность его по разнообразным основаниям заслуживает внимания историка русской литературы. Ряд крупных писателей прошлого столетия так или иначе связан с этим именем. Липранди был, прежде всего, сослуживцем поэта Батюшкова в шведскую войну 1808 года и в своих любопытных походных записках он вспоминает этого батальонного адъютанта, ставшего известным поэтом. Привлеченный к делу 14 декабря, Липранди проводил свой арест в обществе Грибоедова. Мы знаем, что кишиневский полковник был одним из ближайших друзей Пушкина в бессарабский период, и можно считать установленным, что именно он рассказал поэту сюжет «Выстрела». Наконец, историко-военные труды этого раннего участника Бородинского сражения име-

лись в библиотеке Льва Толстого и несомненно изучались им в эпоху создания «Войны и мира».

Таковы весьма внушительные права Липранди на интерес и внимание литературных исследователей.

Но в биографии его имеются, к сожалению, и прикосновения иного рода к некоторым крупным литературным деятелям. Известно, что его имя выступает печальным и мрачным пятном в истории жизни Достоевского. Поступив в 40-х годах на службу в министерство внутренних дел по департаменту полиции, Липранди был главным создателем «дела петрашевцев». Ему принадлежит знаменитая докладная записка по этому «заговору», в которой он определяет кружок Петрашевского как «зло великой важности». По именным спискам, составленным Липранди, десятки русских фурьеристов, в том числе и Достоевский, были приговорены к смертной казни расстрелянием, и лишь по соответственной конфирмации сосланы на каторгу. В ту же эпоху и в плане той же секретной полицейской службы Липранди имел отношение к аресту Огарева и заслужил от Герцена те резкие разоблачения, которые надолго придали звучной южно-романской фамилии этого официального разведчика весьма плачевный нарицательный характер.

Такова была старость Липранди. Но в начале 20-х годов, когда он встречался с Пушкиным, эти подпольные черты его натуры еще не были заметны окружающим. В то время его облик и характер должны были, напротив, привлечь внимание художника своими живописными контрастами. Личность его представляла несомненный интерес по своим дарованиям, судьбе и оригинальному образу жизни.

Липранди был мрачен и угрюм, но любил собирать у себя офицеров и широко угощать их. Источники его доходов были для всех покрыты тайной. Начетчик и книголюб, он славился бреттерством, и редкая дуэль проходила без его участия.

Уже в таком беглом очерке мы узнаем характерные черты Сильвио. Попытаемся более обстоятельно сопоставить исторические материалы о Липранди с художественными свидетельствами Пушкина. Это поможет нам выяснить любопытный вопрос о творческой системе поэта при портретировании его современников.

III

Припомним для этого, прежде всего, портрет Сильвио, зачерченный на первой странице «Выстрела».

«Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сюртуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось при том рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмелился о том его спрашивать. У него водились книги, большею частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил... Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову

его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы ему были неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства...»

Почти все черты этого портрета точно соответствуют живому оригиналу, очевидно, служившему Пушкину моделью для Сильвио. Общий облик и характерные подробности здесь одинаково совпадают. Нам необходимо проследить шаг за шагом историческую точность этого портрета, чтобы выяснить тесную связь пушкинской повести с одной забытой военной биографией.

* * *

Уже внешние детали характеристики Сильвио поддаются точному историческому комментарию.

«Он казался русским, а носил иностранное имя», — рассказывает Пушкин.

При своей европейской фамилии Липранди был вполне русским. У Вигеля читаем: «По фамильному имени надобно было почитать (его) итальянцем или греком, но он не имел понятия о языках сих народов, знал хорошо только русский и принадлежал к православному исповеданию».

На самом деле род его восходил к фамилиям испанских дворян «и, следовательно,—говорит один из мемуаристов,— в жилах его текла кровь, жаждавшая полей брани...»¹ Лип-

¹ Для нашей темы нам главным образом служили: Ф. Ф. Вигель. Записки, в 7 ч., М., 1891—92 (или новое издание под ред. Я. С. Штрайха. М., 1928). С. Г. Волковский. Записки. СПб, 1902. И. П. Липранди. Замечания на «Воспоминания» Ф. Ф. Вигеля, М., 1873. Е го же. Заметка на статью «А. С. Пушкин в Южной России». «Русский архив», 1866, VIII, IX, X. Е го же. Как был взят гор. Суассон 2 (14) февраля 1814 г. «Русский архив», 1868, VI. И. А. Арсеньев. Слово живое о неживых. «Ист. вестн.», 1887, XXVII—XXVIII. «Алфавит декабристов». Под ред. Б. Л. Модза-

ранди действительно рано вступил на военную службу и в отечественную войну уже состоял офицером генерального штаба.

«Не когда он служил в гусарах, и даже счастливо» — читаем у Пушкина.

Липранди на военной службе (правда, по другому роду оружия) достиг значительных успехов. За Финляндскую войну он был отличен шестью боевыми наградами «с назначением в свиту его императорского величества». В 1809 г. он был награжден золотой шпагой. Во время заграничного похода он отличился при взятии крепости Ротенбург и даже был отмечен в реляции главнокомандующего как «искусный и храбрый офицер». Неудивительно, что в эпоху наполеоновских походов он занимал во Франции ответственные и важные посты. Мы видим, что Липранди, как и Сильвио, несомненно проходил военную службу «счастливо».

Но по возвращении в Россию Липранди пережил служебную катастрофу. Она отмечена у Пушкина:

«...никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке...» — говорится о Сильвио.

Это — точное отражение целого этапа биографии Липранди как раз в период его первого знакомства с Пушкиным. В ноябре 1822 г. Липранди должен был выйти в отставку.

Когда Вигель в 1823 г. приезжает в Кишинев, он встречает своего блестящего парижского знакомого Липранди, «который находился тут в отставке и в бедности». Оказывается, «вскоре по возвращении в Россию из генерального

левского и А. А. Сиверса. Восстание декабристов. Материалы. VIII, 343. П. И. Бартенев. Пушкин в Южной России. Мы использовали также известные воспоминания Вельмана, В. П. Горчакова и ряд других работ самого Липранди или же мемуаров, писем и статей, на которые ссылаемся ниже.

штаба был он переведен в линейный егерский полк и, наконец, принужден был оставить службу...» Тайну этой отставки Вигель не раскрывает нам. Мы остановимся на ней ниже.

Возраст Сильвио не случаен у Пушкина. Герою «Выстрела» «около тридцати пяти лет». Липранди родился 17 июля 1790 г. Стало быть, в эпоху его знакомства с Пушкиным (1820 — 1824 гг.) ему 30 — 34 года.

Сильвио мрачен. Пушкин отмечает его «обыкновенную угрюмость» и выдерживает весь портрет его в рембрандтовских тонах.

Вигель пишет о Липранди: «Он всегда был мрачен, и в мутных глазах его никогда не блистала радость...» «Многим казался он страшен...» При встрече их в 1825 г. «лицо его, всегда довольно мрачное, показалось еще мрачнее...»

Но при этом Сильвио любит широко угощать. Он «держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось при том рекою...»

«Вечно бы ему пировать, — сообщает о Липранди его близкий знакомый и антагонист Вигель. — В нем было бедуинское гостеприимство... Я всегда находил у него изобильный завтрак или пышный обед... На столе стояли горы огромных персиков, душистых груш и дорогого винограда...»

Об офицерских приемах у себя в Кишиневе рассказывает сам Липранди: «Три-четыре вечера, а иногда и более, проводил я дома». Своими постоянными посетителями Липранди называет несколько офицеров кишиневского гарнизона и генерального штаба, а из штатских одного Пушкина, который, «впрочем, редко оставался до конца вечера...»

У Сильвио, как известно, идет крупная игра в банк, хотя сам он обычно воздерживается от игры. Липранди уверяет в своих «Воспоминаниях», что сам он в карты не играл,

но, по свидетельствам мемуаристов, на сборищах у него шла азартная игра.

«Чаще всего, — рассказывает Вельтман, — я видал Пушкина у Липранди, человека вполне оригинального по остроуму и жизни. К нему собиралась вся военная молодежь, в кругу которой жил более Пушкин. Живая веселая беседа, *esarté* и иногда, *roug varié*, «направо и налево», чтоб сквитать выигрыш. Иногда забавы были ученого рода».

Таков был общий облик одного из штаб-офицеров кишиневской дивизии, довольно отчетливо зачерченный в пушкинской повести.

IV

Но и духовная природа Сильвио явственно отражает черты Липранди. Пушкин неоднократно отмечает в своем рассказе большой ум и опытность Сильвио. Это — обычное впечатление, производимое Липранди на современников. Все знавшие его говорят о его тонком и остром уме. «Энциклопедически образованный, — определяет его в своих воспоминаниях И. А. Арсеньев, — замечательный лингвист, обладавший редкой способностью быстро понимать и соображать в известный момент силу обстоятельств и их последствий...» Неудивительно, что этот культурный военный обладал в Кишеневе интересным собранием научных книг.

Пушкин не забывает отметить в «Выстреле» библиотеку Сильвио: «у него водились книги, большею частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад...»

У Липранди действительно была библиотечка, составленная в значительной своей части из военных книг. Владелец ее сообщал впоследствии, что он начал собирать ее уже с 1820 года. Здесь, в частности, находились топографические карты и богатый отдел сочинений о Турции. С 1830 г., по словам Липранди, его библиотека была известна европей-

ским ученым обществам, а «в 1856 г. она, по высочайшему повелению, куплена была для библиотеки генерального штаба»¹. Таким образом, в эпоху пребывания Пушкина в Кишеневе, Липранди собирал это замечательное собрание, хорошо знакомое поэту.

В своих «Записках» Липранди сообщает, что Пушкин «интересовался многими сочинениями» из его библиотеки: он называет Овидия, Валерия Флакка, Страбона, Мальтебрюна, труды по истории и географии. По каталогу Липранди значится, что одна книга так и осталась за Пушкиным. Вспомним в «Выстреле» замечание о книгах Сильвио: «он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад».

Материальное положение Сильвио «в бедном местечке», где он жил, очерчено, как и весь его образ, контрастными чертами: смесь роскоши и нужды — вот формула его жизни.

«... Жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сюртуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка...»

Эта своеобразная черта Сильвио, — смесь бедности и расточительности, — оказывается также характерной для его прототипа. Кишиневский приятель Пушкина В. П. Горчаков рассказывает, что «Липранди поражал нас то изысканною роскошью, то вдруг каким-то презрением к самым необходимым потребностям жизни, — словом, он как-то умел соединять прихотливую роскошь с недостатками. Последнее было слишком знакомо Пушкину»².

При этом подчеркивается таинственность его денежных ресурсов: «никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать».

¹ Остаток библиотеки Липранди хранится в Туркестанской гос. библиотеке. См. «Пушкин», статьи и материалы, под ред. М. П. Алексеева, в. III, 64 (Од., 1926).

² «Москвитянин». 1850, № 7, отд. 1, стр. 196 — 197.

Полное соответствие этому находим в биографии Липранди. Загадочность его для многих заключалась в скрытых и непонятных источниках его широких средств. Вигель рассказывает, что довольно часто встречал в Париже одного, «не весьма обыкновенного человека: у него ровно ничего не было, а житью его иной достаточный человек мог бы позавидовать». «Карты об'ясняют расточительность иных бедных людей», но он не был игроком: «целый век умел он скрывать от глаз человеческих тайник, из коего черпал средства к постоянному поддержанию своей роскоши». Таков был жизненный режим Липранди в Париже.

В России его военная карьера пошатнулась, и он был вынужден выйти в отставку. «Не зная, куда деваться,— сообщает далее Вигель,— он остался в Кишиневе, где положение его очень походило на совершенную нищету». Но с назначением на юг Воронцова, под начальством которого Липранди служил во Франции, последний воспрянул духом. Он явился к своему прежнему начальнику, разжалобил его, добился денежной помощи, деловых поручений и назначений. «Тогда на раз'езды из казенной экспедиции начали отпускать ему суммы, в употреблении коих ему очень трудно было давать отчеты... Вдруг откуда что взялось: в не весьма красивых и не весьма опрятных комнатах карточные столы ¹, обильный и роскошный обед для всех знакомых и пуды турецкого табаку для их забавы. Совершенно бедуинское гостеприимство...»

В Кишиневе, таким образом, возродился парижский образ жизни и на этот раз, видимо, установился надолго. В октябре 1826 г. бессарабский знакомый Пушкина, Н. С. Алексеев, сообщает ему: «Липранди... живет попрежнему здесь довольно открыто и, как другой Калиостро, бог знает, откуда берет деньги...»

¹ Вспомним, что Сильвио жил в «бедной мазанке», где шла азартная карточная игра.

Таков общий голос удивленных современников об интригующем и непонятном источнике благосостояния Липранди.

V

Но тайна эта, неразрешимая для многих в пушкинскую эпоху, стала общим достоянием в середине столетия.

Липранди служил в тайной полиции. Еще во время оккупации Франции иностранными войсками он заведывал русской тайной полицией за границей. По его собственному свидетельству, дело было так. В 1816 г. образовалось во Франции злонамеренное общество «Des Epingles» (булавок). Французское министерство сообщило об этом начальникам союзных корпусов, и Воронцов возложил соответственное поручение на Липранди, который вошел в сношения с жандармскими офицерами, секретарем министра полиции в Париже и, наконец, со знаменитым сыщиком Видоком.

О том же говорит в своих воспоминаниях Вигель, описывая «лукулловские трапезы» Липранди в Париже. «И кого угощал он? Людей с такими подозрительными рожами, что совестно и страшно было вступать в разговоры». Это были парижские сыщики и агенты тайной полиции, вербуемые из подонков уголовного мира. Здесь, у Липранди, Вигель познакомился с знаменитым «главою парижских шпионов» Видоком, который «за великие преступления был осужден несколько лет был гребцом на галерах и носит клеймо на спине...»

Вигель удивляется этому пристрастию Липранди к кагоржным, высказывая предположение, что эта среда постоянно служила удовлетворению любопытства Липранди: «через них знает он всю подноготную, все таинства Парижа...» Отметим, что Вигель не догадывался о служебном характере этого «любопытства» Липранди.

Он считал его, впрочем, наиболее осведомленным источником тайной политической информации. Назначенный

в 1823 г. членом верховного совета Бессарабии и имея от Блудова и Воронцова поручение сообщить им о состоянии края и «о всем любопытном, в нем происходящем», Вигель обращается к Липранди, как к главному источнику соответственных сведений о Кишиневе и его обитателях.

Роль этого секретного информатора в те годы не вполне выяснена. Б. Л. Модзалевский считал, что Липранди состоял в Кишиневе «правительственным тайным агентом» («Пушкин и его современники», IV, 177). Другие исследователи полагают, что в Кишиневе Липранди не занимался тайным шпионажем («Пушкин», ст. и мат., в. III, 63). Нужно думать, что прав был Вигель, утверждавший, что Липранди «одною ногою стоял на ультрамонархическом, а другою на ультрасвободном грунте, всегда готовый к услугам победителей той или другой стороны». Это особенно сказалось в его кишиневский период, совпавший с усиленным освободительным движением в Европе.

Двойственная игра политического авантюриста развернулась в атмосфере этого революционного оживления особенно широко, и вольнолюбивый член тайного общества, пострадавший за убеждения, неожиданно стал поражать окружающих подозрительной и непонятной роскошью своего повседневного быта.

Мы знаем, что расцвет полицейской деятельности этого военного сыщика сказался значительно позже, когда он с большим умением и полным успехом организовал сложную провокацию, погубившую Петрашевского и членов его кружка.

Но нужно думать, что и в 20-е годы таинственность, окружавшая Липранди, его облик заговорщика и черты необъяснимой щедрости находят себе объяснение в секретных канцеляриях императорских штабов и министерств.

Но «Выстрел» — прежде всего повесть об одной необыкновенной дуэли. Это оригинально построенный рассказ о поединке с хронологически разобщенными выстрелами в последовательном изложении обоих дуэлянтов, из которых каждый сообщает третьему лицу о пистолетном огне своего противника.

Сильвио прежде всего — бреттер. Он сам говорит о себе: «Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех был или свидетелем или действующим лицом». Окружающие полагают, что «на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства».

Фабула «Выстрела» сводится в основном к рассказу Сильвио об одной своей необычайной дуэли.

Обратимся к Липранди.

Вигель рассказывает о нем: «Ко всем распрям между военными он был примешан, являясь будто примирителем, более возбуждал ссорящихся и потом предлагал себя секундантом. Многим оттого казался он страшен».

Бартенев отмечает, что Пушкин дорожил мнением И. П. Липранди в дуэльных вопросах и принимал в таких случаях его советы и распорядительство.

Сам Липранди подробно рассказал нам о повышенном интересе Пушкина к поединкам.

«Дуэль К—ва с Мордвиновым очень занимала его; в продолжение многих дней он ни о чем другом не говорил, выпытывая мнения других, на чьей стороне более чести, кто оказал более самоотвержения... и т. п.»

«Дуэли особенно занимали Пушкина. В Киеве или во время поездки его к Раевским он слышал о славном поединке Реада с поляком в Житомире и восхищался частностями оного...»

«Будучи еще в Петербурге, он услышал о двух из моих столкновений, из коих одно в декабре 1818 года, по выходе корпуса Воронцова из Франции...»

«Но о другом в 1810 году, в Або, с шведским гвардейским поручиком бароном Бломом, вызванным мною через абовские газеты, на что противник мой отвечал в стокгольмских газетах, с назначением дня прибытия его в Або для встречи со мной, Александр Сергеевич знал, но неудовлетворительно, а потому неотступно желал узнать малейшие подробности как повода и столкновения, так душевного моего настроения и взгляда властей, допустивших это столкновение.

...Чтоб удовлетворить его настоянию, я должен был показать ему письма, газеты и подробное описание в дневнике моем, но и этого было для него недостаточно: расспросы сыпались».

Липранди вообще мог обильно питать этот жадный интерес поэта к знаменитым поединкам. В записках, мемуарах или исторических трудах этого военного деятеля мы находим бесчисленные упоминания и рассказы о замечательных встречах. Дуэль в Париже майора Бартенева с тремя французскими офицерами, столкновение его с генералом Алферьевым, поединок между дивизионным врачом Маркусом и драгунским капитаном в городе Тетеле, дуэль в Нантеле между бригадным командиром П. И. Каблуковым и подполковником Д. Н. Мордвиновым, трагическое столкновение подполковника Мерлиния с полковником Петрулиным в г. Вилькомире и т. д. и т. д.,— таков бесконечный реестр поединков, занесенный в записи Липранди. Здесь изложены самые разнообразные случаи: дуэли на пистолетах и на саблях, с одним заряженным, а другим холостым оружием, при многочисленных свидетелях и совсем без секундантов, со смертельным или благополучным исходом. Пользуясь рас-

сказами Липранди, Пушкин мог бы написать обширную и занимательную книгу о дуэлях наподобие старинного сборника Брантома «Duels celebres», увлекательно повествующего о необычайных единоборствах французских вельмож и итальянских дворян.

Но Пушкин поступил иначе. Из неисчерпаемого источника бреттерских воспоминаний Липранди он выбрал один только эпизод, видимо, наиболее трагический и волнующий, чтоб разобрать его в своем излюбленном жанре «быстрой повести с романтическими переходами».

VII

Пушкин сам прозрачными инициалами отметил живой источник своей повести. В списке лиц, сообщавших Белкину сюжеты для его сказочек, имеется и такая помета:

«Выстрел» (рассказан Белкину) подполковником И. П. Л.¹

Здесь любопытна не только точность в воспроизведении инициалов Ивана Петровича Липранди, но и полное соответствие указанного чина его рангу. «В начале пребывания Пушкина (в Кишиневе) я был подполковником, а потом полковником...», — сообщает в своих воспоминаниях И. П. Липранди.

В пушкинской литературе этот источник «Выстрела» был издавна указан. Еще в 1866 г. Бартенев категорически сообщал, что повесть «Выстрел» «слышана Пушкиным от Липранди». Прочитав это в «Русском архиве» и отвечая на статью Бартенева, престарелый Липранди не опроверг этого указания, но, правда, и не подтвердил его. «Не помню этого рассказа и желал бы знать источник». Ответа в печати не последовало, но у нас есть все основания предполагать, что Бартенев слышал это от офицера генерального штаба

¹ В некоторых изданиях стоят инициалы И. Л. П., но такая перестановка существенно дела не меняет.

В. П. Горчакова, сообщавшего ему ценные устные материалы для его исследования.

Этот именно очевидец бессарабской жизни Пушкина сообщал впоследствии в печати, что поэт, много и часто беседовавший с Липранди, «от него слышал рассказ «Выстрел»¹.

Нам остается разрешить вопрос, действительно ли в практике Липранди был дуэльный случай, рассказанный в «Выстреле»?

Но, к сожалению, дать здесь окончательный ответ пока затруднительно. Нам известно только, что у Липранди был один знаменитый поединок, о котором много писали в заграничной печати. Им-то особенно и интересовался Пушкин, требуя от Липранди обстоятельных рассказов, дневников и газет. Все, что мы знаем об этой дуэли, сводится к следующему.

В 1810 г. Липранди, считавший себя, видимо, оскорбленным, поместил в газетах Або картель шведскому поручику гвардии барону Блону, который через стокгольмские газеты принял вызов и назначил день встречи в Або. В старинных «Записках артиллериста» И. Радожицкого даются вскользь некоторые дополнительные сведения об этой дуэли. Радожицкий познакомился с Липранди в 1814 г. в Варшаве

¹ «Русский архив», 1900, I. — На сходство инициалов рассказчика «Выстрела» и Липранди обратил мимоходом внимание Н. И. Черняев в своем этюде о «Выстреле». Поставив вопрос о том, не Липранди ли рассказал поэту фабулу этой повести, Черняев приходит к заключению, что прототипом Сильвио был грек Софиано или Софианос, известный гетерист, близко стоявший к русским военным группам и сражавшийся под Скулянами.

Мнение Черняева принято составителем «Материалов для биографического словаря одесских знакомых Пушкина» («Пушкин», статьи и материалы под ред. М. П. Алексеева, в. III, Одесса, 1926, стр. 65): «для повести Липранди мог действительно сообщить некоторые черты на жизни Софиано-Сильвио».

и был очарован оригинальностью, начитанностью и любезностью молодого офицера.

«Но пылкость характера, — продолжает мемуарист, — заводила его часто в безрассудства. Бывши в Або, он вызвал на дуэль одного из врагов своих через газеты; два месяца учился колотиться; наконец, встретился с противником, и дал ему смертельный штос».

Последнее указание неверно. Липранди в своих воспоминаниях сообщает, что его противник барон Блом в 1862 г. жил полковником в отставке за ранами в Никопинге. Отметим, что он принадлежал к старинной и знатной шведской фамилии. По сообщению Липранди, родословная Бломов напечатана в книге о войне России со Швецией в 1809 г. Известно, что один из представителей этой фамилии был долголетним послом в Петербурге и встречался в 30-х годах с Пушкиным.

Вот пока все немногие сведения об этой дуэли Липранди. Аналогий с поединком Сильвио немного, но они все же есть. В обоих случаях к барьеру вызывается молодой поручик знатного рода (у Пушкина — граф). Липранди, как Сильвио в повести, особо и длительно готовится к этой дуэли, обучаясь безошибочному удару. Наконец, в обоих случаях необычайный поединок не имеет смертельного исхода.

Не будем настаивать на дальнейшей тождественности этих двух дуэлей и ограничимся бесспорным сведением о том, что «Выстрел» рассказан Пушкину Липранди. Позволительно думать, что нечто подобное происходило в его личной бреттерской практике, но это, во всяком случае, не существенно. В отношении Пушкина всякая проблема заостряется в сторону своей литературной природы, — таков и данный случай. Нам важно запомнить, что в Кишиневе Пушкин широко применяет систему собирания творческих материалов в беседах. Он документируется для творчества у многих лиц.

Офицер В. П. Горчаков рассказывал ему о сражении под Скулянами, чиновник М. И. Лекс — о гайдуке Кирджали, гетеристы Каранья, Дука и Пендадеки — всевозможные молдавские предания. Многие из этих рассказов вошло в его творчество. Но, конечно, самым ценным для него из всей этой устной литературы оказался рассказ Липранди об одном экстравагантном бое двух офицеров. Дуэль всегда привлекала Пушкина и не только как акт молодечества, но и как заманчивый литературный факт. Он глубоко ощущал благодарный композиционный материал этой темы, ее высокую сюжетную насыщенность, ее способность туго напрягать действие рассказов и резко выявлять все изломы главных характеров. Мы знаем, как разнообразно он разработал этот мотив в двух своих больших романах — в «Онегине» и «Капитанской дочке». И для нас не безразлично, что в этом направлении воздействие на его творчество незаметно шло от его кишиневского собеседника. Мы знаем, что Пушкин жадно слушал его бесчисленные рассказы об оскорблениях, вызовах, секундантах, барьерах, выстрелах и всевозможных чудесах фехтования и прицела. Все это незаметно отлагалось в его творческом сознании отважными образами, героическими эпизодами, кровавыми сценами и той головокружительной поэзией опасности и смертельной игры, которая всегда была дорога Пушкину. Недаром он так жадно вбирал в себя эти полковые истории и походные предания об удалстве, молодечестве и риске, предоставляя им свободно бродить в своем воображении или отлагаться в своей памяти. Через несколько лет мировая литература обогатилась маленьким шедевром о дуэли — повестью «Выстрел».

VIII

Обратимся к исторической концовке «Выстрела», несколько неожиданно завершающей повесть о зловещем бреттере.

«Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра Ипсиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами».

Пушкин придает своему герою ореол борца за вольность, возводит его в сан политических вождей, причисляет его к горсти отважных представителей европейского свободолюбия. Сильвио погибает смертью Байрона — в активной борьбе за освобождение Греции. Более высокой канонизации образа поэт, кажется, не мог бы дать.

Она должна нам показаться резко противоречащей характеру Липранди по всему, что мы теперь знаем о нем. Но это освещение несколько не противоречит тому впечатлению, какое Липранди стремился производить в молодости на окружающих. Как многие агенты секретной полиции, как многие сыщики и провокаторы, он заигрывал с «крайней левой», прикидывался революционером, и в опасной политической игре был, видимо, готов менять свои позиции в зависимости от победы той или иной воюющей стороны. Об этом, мы видели, с полной категоричностью свидетельствует Вигель.

Сам Липранди охотно демонстрировал свои радикальные убеждения. Раджицкий, познакомившийся с ним в 1814 г., довольно прозрачно сообщает в 1835 г. в своих воспоминаниях:

«...Капитан Л***, горячий итальянец, называвший себя мартинистом, обожатель Вольтера, знал наизусть философию его и думал итти прямейшею стезею в жизни. С пламенными чувствами и острым, хотя не всегда основательным умом, он мог вернее других отличать хорошее от дурного, благородное от низкого; презирая лесть, он смеялся над уродами в нравственном мире»¹. В эту эпоху ликвидации

¹ «Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год. Артиллерии подполковника И... Р...». Москва, 1835, ч. III, 1814 год. «Война

великой революции и господства знаменитого обывательского лозунга «с'est la faute à Voltaire», звание «вольтерיאнца» было почти равносильно обозначениям якобинца и карбонария. Между тем, Липранди, видимо, щеголял этим званием, подчеркивая независимость своих суждений и пренебрежение к господствующим предрассудкам.

Его таинственная отставка и опала как раз в эпоху повышенного революционного брожения в Европе, после блестящих военных успехов, объясняются, прежде всего, его репутацией вольнодумца и мятежника. Вигель снова дает отдаленный намек: «Из генерального штаба был он переведен в линейный егерский полк и, наконец, принужден был оставить службу. Все это показывает, что начальство смотрело на него не с выгодной стороны».

Разгадку этой тайны дает в своих «Воспоминаниях» декабрист Сергей Волконский. Вот, что он пишет о Липранди как о своем сослуживце в эпоху наполеоновских войн:

«Как молодой человек, он приобрел уважение, любовь своих товарищей и доверенность начальников; служа в генеральном штабе, состоял он при второй армии и, по неприятностям с высшим начальством по его роду службы, перешел в один из егерских полков 16-й дивизии и был, в уважение его передовых мыслей и убеждений, принят в члены открывшегося в этой дивизии отдела тайного общества, известного под названием «Зеленой книзи». При открытии в 20-х годах восстания в Италии, он просил у начальства дозволения стать в ряды волонтеров народной итальянской армии. По по-

во Франции», стр. 354—355. Это и есть те «Записки артиллериста» Радожицкого, на которые ссылается в своих воспоминаниях Липранди. Разрешением этой библиографической проблемы мы обязаны М. А. Цявловскому.

воду неприятностей за это, принятое как дерзость, его ходатайство он принужден был выйти в отставку, и, выказывая себя верным своим убеждениям к прогрессу и званию члена тайного общества, был коренным другом майора, сослуживца его по 32-му егерскому полку Вл. Фед. Раевского, о котором буду говорить впоследствии при происшествиях 25-го года».

Итак, в качестве передового военного Липранди был принят в тайное общество. Под «Зеленой книгой» имелся в виду знаменитый питомник декабристов — Союз Благодеяния, статут которого занесен в зеленую тетрадь. Все это проливает свет на личность Липранди и на некоторые построения Пушкина.

Прежде всего, нам становится понятной начальная черта портрета Сильвио: «Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным... Никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку...» и пр.

Вспомним некоторые обстоятельства из истории южных тайных обществ. В момент приезда Пушкина в Кишинев в сентябре 1820 г. Липранди еще находится на военной службе. Но в декабре 1821 г. прошла глухая молва о Союзе Благодеяния, и главная квартира настоятельно потребовала открытия «заговора»; 5 февраля 1822 г. был арестован близкий друг Липранди В. Ф. Раевский и отвезен в Тираспольскую крепость для опроса в особой следственной комиссии. Не случайно, видимо, в тревожный момент, накануне ареста Раевского, Липранди берет трехмесячный отпуск и оставляет Кишинев (30 января 1822 г.). Это, впрочем, не спасает его. 11 ноября 1822 г. он вынужден выйти в отставку. Только три года спустя, в конце 1825 г., Липранди снова был принят в войска. Таким образом, во вторую половину пребывания Пушкина в Кишиневе Ли-

пранди, как и Сильвио, находился в отставке, но продолжал возвращаться в прежней офицерской среде, «не будучи военным».

Свидетельство Волконского проливает свет и на революционную роль Липранди. В военном обществе 20-х годов он — представитель «передовых мыслей и убеждений». Его принимают в состав тайного политического общества, он близкий друг «первого декабриста» (по формуле П. Е. Щеголева¹) — В. Ф. Раевского и, наконец, за верность своим убеждениям он вынужден прервать свою блестящую военную карьеру и выйти в отставку. В эпоху общего воспламенения Европы и восстаний в Италии он решается заявить о своем желании стать в ряды восставших. Мы видим, что в кишиневский период Пушкина Липранди стоял «на ультрасвободном грунте». Вспомним, что это была эпоха заразительного политического брожения на Западе, сильно увлекшего русских военных, проделавших заграничные походы.

Это настроение Липранди сказалось и в эпоху декабрьского движения. Герцен впоследствии решительно называл его «членом тайного общества 1825 г.»². Его прикосновенность к декабрьскому движению одно время считал несомненной Вигель. Его ближайший начальник и покровитель Воронцов секретно сообщал в Петербург об арестованном Липранди, что относительно него «сомнение превратилось в явное подозрение».

Пушкин, конечно, и отдаленно не догадывался о тайной политической миссии Липранди³. Он верил в искренность

¹ Щеголев. Декабристы, П., 1920.

² «Какой благородный поступок со стороны Перовского и его клеветы Липранди — некогда члена тайного общества 1825 г., и впоследствии шпиона» (Герцен, соч., IX, 598).

³ Одна фраза из «Выстрела» могла бы показаться намеком на такую правильную осведомленность Пушкина в деятельности Ли-

вольнoлюбивых речей полковника и несомненно считал его в стане революционеров. «Липранди, — пишет Пушкин Вяземскому 2 января 1822 г., — мне добрый приятель и (верная порука за честь и ум) не любим нашим правительством, и в свою очередь не любит его» (Письма, I, 25).

О причастности Липранди к тайному обществу Пушкин был, видимо, осведомлен. Сам Липранди сообщает, что «Пушкин принимал живейшее участие в судьбе В. Ф. Раевского и чрезвычайно любопытствовал узнать причину его ареста». Между тем, Липранди в известной степени разделял судьбу Раевского, и интерес Пушкина должен был распространяться и на него.

Естественно предположить, что Липранди, вообще щеголявший радикализмом, должен был широко учитывать оппозиционные настроения сосланного Пушкина и открыто демонстрировал перед ним свою показную революционность. Автор «Кинжала», антиправительственных ноэлей, эпиграмм на царя и министров представлял собою благодарного слушателя для кишиневского вольтерьянца и карбонария.

Последний термин особенно применим к тогдашним ро-

пранди: «Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью с галуном (то, что французы называют *bonnet de police*, полицейской шапкой); он ее надел...» и пр. Этот необычный французский термин полицейского головного убора мог бы ввести в сомнение, если бы не точная картина взаимоотношений Пушкина и Липранди, исключая всякую возможность такого предположения. Остается думать, что Липранди сообщил Пушкину кое-что из своей деятельности во Франции в тех пределах, приемлемых и даже обязательных военных поручений, о которых он рассказал впоследствии в печати. Заговоры, Видок, таинственные преступления — все это представляло собой соблазнительный материал для бесед Липранди с Пушкиным. Но не может быть никакого сомнения, что поэт и отдаленно не догадывался о тайной полицейской службе Липранди в России. Он искренне считал его революционером и врагом правительства и за это особенно ценил его.

лям Липранди. Мы видим, что он с исключительным интересом отнесся к делу итальянских «угольщиков», т.-е. революции в Неаполе в 1820—1821 гг., когда он стремился даже стать в ряды инсургентов. По свидетельству Волконского, Липранди даже пострадал за свое сочувствие мятежным неаполитанцам — и нужно думать, что соответственные речи о европейской революции были учтены военными следователями и сыграли свою роль при постановлении приговора.

С ноября 1822 г. Липранди, в глазах посвященных и сочувствующих, был окружен некоторым ореолом жертвы за смелые убеждения и горячую приверженность великому делу освобождения европейских народов от тиранического гнета Священного Союза. Передовое общественное мнение Европы было всецело на стороне революционного Неаполя, стремившегося сбросить с себя иго бурбонской Франции и меттерниховской Австрии.

Нам становится ясной неожиданная на первый взгляд концовка «Выстрела», вполне закономерно завершающая цельную композицию главного образа.

На глазах у Пушкина Липранди как бы принимал муку за стремление освободить чужую народность от тяжелого реакционного гнета. Этот жест и нашел отражение в героическом эпилоге Сильвио, гибнущего в борьбе за освобождение восставшей Греции. Если Липранди мечтал вести народные ополчения итальянской армии на штурм старых монархий, Сильвио «предводительствовал отрядом этеристов» и пал в знаменитом революционном сражении.

Таким торжественным штрихом завершает Пушкин образ своего героя, до конца стремясь точно фиксировать свое творческое впечатление от одной необыкновенной личности и судьбы.

Краткая история знакомства Пушкина с Липранди внесет в нашу тему необходимую хронологическую ясность.

По приезде в Кишинев, Пушкин сейчас же познакомился с Липранди. Приехав на место своей ссылки 21 сентября 1820 г., он уже 23 сентября встречается у М. Ф. Орлова с этим видным офицером его дивизии, с которым довольно быстро сближается. Липранди вспоминает их «приятные, веселые беседы» в первые же недели их знакомства.

Пушкин действительно становится вскоре его постоянным посетителем, слушателем его рассказов, читателем его библиотеки.

Тридцатилетний полковник, проделавший три кампании, естественно превращается в руководителя двадцатилетнего юноши, заброшенного в «чужие степи». Он способствует акклиматизации Пушкина в полувоенном кишиневском обществе и нередко выводит его из беды. Со своей обычной точностью и несомненной исторической правдивостью Липранди излагает несколько случаев, когда его вмешательство расстраивало поединки, в которых поэт с обычной беспечностью ставил по пустякам свою жизнь на карту ¹.

Он заботился и о научном развитии Пушкина. В качестве дилетанта-ученого и отчасти литератора (впоследствии Липранди расценивали, и не без основания, как довольно заметного военного писателя) он правильно угадывает направление интересов молодого поэта. Он устраивает ему нечто вроде экскурсий по историческим местностям Новороссийского края. Служебная поездка в Аккерман и Измаил в 1820 г. представляет собою некоторую экспедицию на ме-

¹ Вызов Пушкиным двух полковников — Ф. Ф. Орлова и А. П. Алексеева, решение стреляться с неизвестным нам лицом за вопрос: «Как! Вы поэт, и не знаете об этой книге?» и пр. Во всех этих случаях Липранди осторожно и умно устранял опасность.

сто ссылки Овидия, поездка в Бендеры в 1824 г. имеет целью осмотр мест, связанных с именами Карла XII и Мазепы. В попутных беседах штабной полковник развертывает свою обширную эрудицию по географии, истории и этнографии страны, излагая ряд специальных сведений, столь драгоценных для его спусателя-поэта. В Бендеры он даже привозит в своих чемоданах научную литературу о войне со шведами, старинные путешествия, военные карты, планы лагерей и крепостей, изображения исторических деятелей. Все это отлагается в творческой памяти его гениального слушателя, и через несколько лет в эпилоге «Полтавы» еще звучат явственные отголоски этих бендерских бесед, осмотров и прогулок.

Все это внушало Пушкину несомненное уважение к Липранди. В бумагах поэта сохранился хвалебный отзыв о кишиневском полковнике, «соединяющем ученость истинную с отличными достоинствами военного человека» (Бумаги Пушкина, I, 279). В своих письмах к разным лицам он «дружески обнимает» Липранди, называет его своим «добрым приятелем», считает его среди нескольких лиц, «близких своему воспоминанию». В одном из одесских писем он даже сознается, что ему «брюхом хочется видеть Липранди».

Вот почему отзвуки автобиографического признания слышатся нам в заявлении автора «Выстрела» о Сильвио: «Он любил меня, по крайней мере, со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностью»¹.

¹ Ряд автобиографических признаков этой новеллы не подлежит сомнению. Еще Бартенев указал, что в повести «Выстрел» ряд черт, очевидно, принадлежит Кишиневу. Он же отметил, что в первой дуэли Сильвио Пушкин приписал молодому талантливому графу «собственные действия в кишиневском поединке с офицером генерального штаба З.» (завтрак черешнями у барьера).

Их личные отношения закончились в 1824 г. За две недели до выезда Пушкина из Одессы, т.-е. в июле 1824 г., Липранди виделся с ним в последний раз. «Два-три письма в нескольких строчках, из коих последнее было из Орла, когда он ехал на Кавказ к Паскевичу, заключили наши сношения»¹.

Пушкин, впрочем, продолжает ласково упоминать Липранди в своих письмах. Не лишено интереса, что в последний раз он это делает через два месяца по окончании «Выстрела», в декабре 1830 г. («Выстрел» был написан 12 — 14 октября²).

Х

Образ Липранди не мог не привлечь к себе художественного внимания Пушкина. Потомок испанских грандов, участник наполеоновских походов, независимый противник существующей власти, байронически сочувствующий поднявшейся европейской вольнице; при этом бесстрашный дуэлист, знаток экзотических стран юго-востока, стратег и историк, боевой офицер, избородивший все военные пути Европы от Иденсальми до Бородина и Парижа, герой знаменитых сражений, отличенный уже на двадцатом году золотой шпагой, чтоб затем неожиданно выйти из полка за причастность к тайному политическому обществу, человек загадочных

¹ Письма Пушкина к Липранди до нас не дошли. По сообщению самого Липранди, у него хранились 5 писем Пушкина, пропавших в 1851 г. во время отъезда его за границу («Русский архив», 1866, стр. 1450). Б. Л. Модзалевский условно признал Липранди адресатом одной кишиневской записки Пушкина (Письма, I, № 19).

² Для полноты нашей хронологии отметим, что Липранди надолго пережил Пушкина. Он скончался 90 лет от роду 9 мая 1880 г. Хорошо помнивший время Екатерины II, он умер накануне открытия московского памятника Пушкину и знаменитой речи Достоевского. Над свежей могилой Липранди громко прозвучали два литературных имени, с историей которых он был так тесно и так различно связан..

контрастов — роскоши и нужды, кутежей и пасмурных раздумий, кровавых подвигов и сосредоточенной мысли; кладно-кровный мастер пистолета, участвующий во всех поединках, и при этом владелец редкостного военно-исторического книгохранилища, — все это, вместе взятое, сплеталось в интригующий и привлекательный образ, столь благодарный для разработки романтическим поэтом. Подполковник 16-й пехотной дивизии Иван Петрович Липранди не мог не поразить фантазии двадцатилетнего автора «Кавказского пленника». И он, действительно, оставил свой след в творческой памяти поэта.

Не подозревавший о художественном преображении кишиневского штаб-офицера в беллетристике Пушкина, их общий приятель Горчаков совершенно правильно свидетельствовал впоследствии, что Липранди «своей особенностью не мог не привлечь Пушкина: в приемах, действиях, рассказах и образе жизни подполковника много было чего-то поэтического, не говоря уже о его способностях, остроте ума и сведениях»¹.

Пушкин, мы знаем, питал жадный интерес к таким фигурам привлекательных авантюристов и отважных чудаков. Якубович, тоже отважный воин, мрачный герой, бреттер и участник тайных обществ, долго был героем его воображения. Толстой-американец, получивший от Грибоедова прозвание ночного разбойника и дуэлиста, привлекал внимание Пушкина и, как известно, послужил ему моделью для секунданта Ленского. Мог ли он пройти равнодушно мимо кишиневского офицера, поражавшего своих однополчан не только остротой ума и обширностью познаний, но еще более оригинальностью своего быта, глухою и соблазнительною славою загадочного политического заговорщика?

Липранди, действительно, выступил перед поэтом «ге-

¹ «Москвитянин», 1850 г., № 7, отд. 1, стр. 196 — 197.

роем таинственной какой-то повести», и именно таким впоследствии вступил в его собственное творчество.

* * *

Все это могло бы вызвать в нас некоторую тревогу. Зная позорную изнанку жизни и деятельности Липранди, мы, естественно, могли бы пожалеть об эстетической канонизации этого отталкивающего персонажа под оживляющим пером Пушкина.

Но в плане своих личных отношений и творческих восприятий поэт не ошибся. У мрачного провокатора, случайно вступившего в его биографию, была одна искупительная черта. Этот холодный сыщик, поставивший под расстрел Достоевского, искренно любил Пушкина. Мы уже видели, что история их близости непрерываемо свидетельствует о глубоком внимании и нежной опеке старшего друга над его юным сотоварищем, которого он приобщает к своему житейскому опыту и научной культуре, не переставая оберегать повышенное самолюбие, обостренное чувство чести, духовные интересы и даже нередко жизнь Пушкина.

Друзья поэта высоко оценили эти отношения. Баронесса Вревская (в девичестве Евпраксия Вульф), горячо преданная памяти своего тригорского поклонника, в 1839 г. в доме Сергея Львовича много беседовала с постаревшим уже Иваном Петровичем об их покойном общем друге и вынесла из этого разговора впечатление, что Липранди «восторженно любил Пушкина» («il l'a aimé avec enthousiasme»).

Поэт, мы знаем, не остался в долгу. Он запомнил образ своего кишиневского приятеля и по-своему обессмертил его. Он пронес сквозь свои литературные и жизненные скитальчества воспоминание об одном необычайном офицере орловской дивизии и во всей свежести яркого художественного восприятия сохранил его в своей поэтической памяти.

И вот однажды, в золотую болдинскую осень, среди пышного творческого празднества, между «Моцартом, и Сальери» и эпилогом «Онегина», поэт вспомнил увлекательный рассказ спутника своих южных кочевий. Бреттерский анекдот развернулся в драгоценную новеллу, а самый рассказчик его превратился в главного героя этой короткой и трагической повести.

Нам остается взглянуть в художественные принципы Пушкина при этой зарисовке эпохи и портретировании современников.

XI

Мы видели, что художественный метод Пушкина в изображении Сильвио сводится прежде всего к точной фиксации реальных черт его модели. Фантастический стиль образа несколько не нарушает общего тона достоверной мемуарной записи, господствующей в характеристике героя. Если Липранди сохранил для нас образ Пушкина в своих дневниках и воспоминаниях, поэт запечатлел таинственного полковника в плане своей художественной прозы — в романтической повести, восходящей к подлинной житейской практике этого бесстрашного дуэлиста.

Поэт выполнил свое задание с изумительной близостью к непосредственным свидетельствам жизни и показаниям исторической действительности. Он сумел во весь рост зарисовать своего героя, схватив в своем портрете все выдающиеся черты его своеобразного облика.

Это тем удивительнее, что новелла о Липранди выдержана в излюбленном Пушкиным жанре короткого и стремительного рассказа.

Основной принцип пушкинской прозы — «*narré rapide*» — нигде не изменяет ему в «Выстреле». Лаконизм характеристик, сжатость изложения, сюжетная сосредоточенность рас-

сказа могут считаться здесь образцовыми. Приходится поистине удивляться, как при соблюдении этих неумолимых условий быстрого повествования автору удалось вобрать в него такое обилие подлинных черт, запечатлеть столько характерных линий своей модели, наконец, с такой непревзойденной достоверностью наметить в герое этого необыкновенного приключения подлинную биографию исторического лица. Зоркость наблюдения и точность моментальной зарисовки здесь одинаково поражают. В одной фразе Пушкину удается выразить целый жизненный этап или основное свойство характера Липранди, т.-е. те черты и факты, на изображение которых Вигелю, Волконскому или другим мемуаристам потребуются впоследствии обстоятельные и детальные описания.

«Быстрый карандаш» Пушкина уверенно и мастерски, в нескольких штрихах, с максимальной выразительностью зачерчивает поразивший его необычайный профиль современника.

Нельзя не удивляться и силе художественной памяти Пушкина. От Кишинева и Одессы до Болдина прошло шесть-семь лет, от первых встреч с Липранди — целое десятилетие. Где только ни побывал Пушкин за эти годы и кого он ни перевидал на своем пути! Какие крупные исторические события, личные впечатления и творческие раздумия пронесли за это время в его сознании... А между тем точность его зарисовки равносильна записи дневника, непосредственно занесенной после встречи и беседы. Свежесть его впечатления, отчетливость его воспоминания, характерная острота и выпуклость однажды схваченного образа ни в чем не потускнели и не сгладились. Художественная память Пушкина поистине может поспорить в достоверности с официальными документами или историческими свидетельствами эпохи, тем более, что точная фактичность показаний

здесь как бы усилена и углублена ясновидением творческого сознания.

Это относится в равной степени и к живописи исторического фона. Так же, как сложная личность Липранди схвачена целиком в гениальных ракурсах пушкинского портрета, так и вся эпоха этих походов и заговоров сосредоточена в коротеньком очерке Белкина.

Неподражаемый темп рассказа заслоняет от нас его временную длительность и как бы скрадывает глубину исторического фона. А между тем, эта маленькая повесть захватывает период не менее, чем в пятнадцать лет. Вспомним, что от пощечины, полученной Сильвио, проходит шесть лет до его второго поединка; пять лет истекают от этого момента до рассказа графа; только спустя некоторое время автор узнает о смерти Сильвио под Скулянами, т.-е. в 1821 г. К этому следует еще присоединить некоторый срок гусарской службы Сильвио до пощечины и даже до вступления в полк графа Б. Таким образом, общий срок рассказа захватывает примерно период от 1806 — 1808 до 1822 г. Повесть начинается в эпоху, когда гусарские полки действительно взрывали копытами дороги Царства Польского, и заканчивается в момент, когда офицеры русской службы шли командовать отрядами гетеристов.

Какой широкий отрезок времени, а главное — какой насыщенный событиями период! Ведь именно о нем вспоминал Пушкин:

Метались сметенные народы,
И высились и падали цари...

Таким образом, исходя из живописной фигуры одного офицера, Пушкин дал нам малую повесть, которая представляется на первый взгляд авантюрной новеллой, но по существу уже предвещает исторический роман. Если расшифровать здесь все знаки, если взойти по всем разбросанным

намекам, если развернуть тесно сомкнутое кольцо сюжета и пристально взглядеться в раскрывающиеся за ним перспективы истории и жизни, — этот полковой эпизод широко распахнет перед нами окна в бурную и героическую эпоху своего возникновения. Художник непрерывно ощущал ее в момент создания «Выстрела» и зорко хранил в своем кругозоре обширный цикл исторических событий и образов, еле зачерченных им в скупых и лаконических чертах. Стиль «Выстрела» это — максимальная концентрация художественного письма, вбирающего в себя огромные фрагменты истории и быта. Эти беглые фразы не перестают сигнализировать нам своими мгновенными знаками о каких-то больших и катастрофических событиях. Перед нами в двух коротеньких главках развертывается целая хроника эпохи с ее балами и дуэлями, жизнью армейской дивизии и буйным бытом гусарского полка, шампанским, пуншем и картами, либеральными офицерами, прекрасными польками и графинями-амазонками. И в довершение этого вихревого развертывания целого царствования, перед нами проносятся исторические профили Александра Ипсиланти и «славного Бурцева, воспетого Денисом Давыдовым». Это, в сущности, — целая эпопея, сжатая в один офицерский анекдот, это, в известном смысле — «Война и мир» на четырех страницах. Ибо весь героический период александровской эпохи, с ее отгулами знаменитых сражений и первыми грозowymi предвестниками декабризма, здесь раскрыт в такой моментальной вспышке и запечатлен с такой ударностью, быстротой, уверенной силой и ослепительной яркостью, что повесть поистине имеет право называться «Выстрел».

КУЛЬТУРА ПИСЕМ В ЭПОХУ ПУШКИНА ¹

Письмо Татьяны предо мною,
Его я свято берегу,
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.
«Евгений Онегин», III, XXI.

Переписка Пушкина с его современницами поднимает ряд живых исторических вопросов и возбуждает несколько значительных тем по его биографии и поэтике. Словесная культура письма в онегинскую эпоху, высокое мастерство поэта в эпистолярном жанре, общий характер романических нравов той поры, галерея женских портретов, развернутая над интимным архивом Пушкина и раскрывающая нам забытую жизнь салонов, редакций или усадебных парков — все это возникает из палевых листков старомодной почтовой бумаги, исписанной тонким женским почерком 20-х годов.

Раскроем же эту старинную шкатулку. Развернем желтеющие пачки дружеских, шутливый, влюбленных, подчас деловых, и почти всегда нежных писем женщин к Пушкину. Они помогут нам воспринять время поэта в том неуловимом, интимном, характерном и человечески-волнующем, что остается обычно за пределами строгой истории.

¹ Предисловие к сборнику «Письма женщин к Пушкину», М., 1928.

Пушкин высоко ценил своих читательниц и почитательниц. Его многочисленные мадригалы, послания и посвящения — часто только ответная дань признательности за сердечные исповеди и восхищенное поклонение. «Теперь я понимаю,—пишет героиня его «Романа в письмах»,—почему Вяземский и Пушкин так любят уездных барышень: они их истинная публика...» Но к той же категории относились и великосветские дамы, и руководительницы поэтических кружков, и стареющие помещицы, и смиренные писательницы 30-х годов.

Некоторые из них оставили в своих письмах к Пушкину отрывочный, но ценный материал для характеристики сердечных и литературных связей эпохи, личности Пушкина, культурных запросов его времени и духовного уровня русских женщин той поры.

Пушкин в окружении этих поклонниц и читательниц освещается с различных сторон как собеседник и писатель. Пачка женских писем, адресованных к нему, раскрывает все разнообразие впечатлений от поэта в пестром кругу его современниц.

Дружеская шутка Вяземской; блистательная похвала Зинаиды Волконской; девичья влюбленность Анны Вульф; заботливая нежность Осиповой; веселая фривольность Керн; самоотверженная страсть Элизы Хитрово; светская вежливость Смирновой; наконец, глубокое благоговение писательниц — Дуровой, Фукс, Ишимовой — сквозь все эти разнообразные восприятия и сердечные склонности отчетливее проступает перед нами вечно неуловимый образ Пушкина.

Эти листки старинной переписки — лучшие свидетельства для оценки любовных нравов эпохи. Наследье европейской эротики XVIII века заметно сказывалось в интимном быту

русского культурного слоя 20-х годов. Знаток и ценитель этих традиций «галантного века», Пушкин заметно окрашивал романические идиллии своих современниц в тона «Опасных связей» Лакло. «Чувство — только дополнение к темпераменту», — говорил он полюбивший его девушке, которая из общения с ним выносит впечатление, что он «опасный человек», не стоящий искреннего увлечения. Переписка Пушкина действительно подтверждает, что женщина рано получила для него значение только праздничного возбудителя жизнеощущений в духе старинных сенсуалистов Италии и Франции. На каждом шагу здесь вспоминается свидетельство юного Павла Вяземского о своеобразных уроках Пушкина, убеждавшего его «в важном значении для мужчины способности приковывать внимание женщин». «Он учил меня, что в этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед, нагло, без оглядки, чтобы заставить женщин уважать вас... Он постоянно давал мне наставления об обращении с женщинами, приправляя свои нравоучения циническими цитатами из Шамфора...»

Отсюда ряд драматических столкновений в пушкинском окружении. Знаменитый поэт, увлекательный собеседник, облеченный громкой литературной славой и опасной репутацией Дон-Жуана, он, видимо, производил на женщин — особенно в последнее десятилетие своей жизни — совершенно неотразимое впечатление. Некоторые строки из писем к нему Анны Вульф, П. А. Осиповой или Е. М. Хитрово свидетельствуют об их глубоком и трогательном чувстве, готовом все понять и все простить. Но сам поэт относился обычно довольно легко к этим проявлениям сердечной привязанности.

Автор «Гаврилады» мало ценил в жизни «возвышенные чувства», принимая их, видимо, только в творческом плане. Художественный корректив, во многом видоизменявший непосредственную натуру Пушкина, вносил некоторое разнообра-

разие и в основной тон его отношений к женщине. Элегия восполняла подчас глубокими нотами мечты и печали чувственную доминанту его жизнеощущения. Но изменить этот основной «тонос» она все же не могла.

Любовь как проникновение в духовный облик другого существа, глубоко сочувственное овладение этим сложным миром, полное слияние с ним и радость общего бытия в единстве внутренних переживаний — такое чувство было чуждо Пушкину. Любви в этом смысле он, вероятно, никогда не знал. Единственное, кажется, чистое и глубокое поклонение, проходящее через его жизнь и донине неразгаданное, во всяком случае не было разделено и осталось в плане художественных вдохновений. Обычно он испытывал лишь страсть и ревность, но оба эти состояния переживал необычайно интенсивно и бурно. Если в лирике он поднимался до высоких и чистых поклонений «вечно жгущему», в своей романической практике он был далек от культа Прекрасной Дамы, от любовной метафизики средневековья или романтизма. Скорее нечто от эпохи Ренессанса и XVIII века отразилось на его личных романах. Не Данте и не Новалис, но Аретино и Вольтер. В личности Пушкина не было ничего от рыцаря Тогенбурга и было очень много от Казановы.

Равнодушие и безразличие к духовному миру женщин определяют все его увлечения. Характерно свидетельство его брата Льва, что в разговорах с женщинами он никогда не касался вопросов поэзии и литературы. Любовь для него оставалась преимущественно сферой острых эротических переживаний и несколько отвлеченным материалом для великолепных лирических опытов, для бессмертных русских *Amores*. Но любви в простом человеческом смысле ему, по-видимому, никогда не пришлось испытать. Лирика чувства исключалась насмешливым скептицизмом. К Воронцовой он

применяет циническую фразу о «восьми позах Гретино», Керн для него «вавилонская блудница», Анна Вульф — смешная провинциалка, Элиза Хитрово — сладострастная Пентефриха.

В минуту откровенности он пишет этой глубоко сердечной женщине, которая тревожится за его здоровье, устраивает его судьбу, проявляет к нему поистине молитвенное благоговение:

«Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки, — это и гораздо короче и гораздо удобнее...

Хотите ли вы, чтобы я говорил с вами откровенно? Быть может, я изящен и вполне порядочен в моих писаниях, но мое сердце совсем вульгарно, и все склонности у меня вполне мещанские. Я пресытился интригами, чувствами, перепиской и т. д. и т. д. Я имею несчастье быть в связи с особой умной, болезненной и страстной, которая доводит меня до бешенства, хотя я и люблю ее всем сердцем. Этого более, чем достаточно для моих забот и особенно для моего темперамента. Вас ведь не рассердит моя откровенность, не так ли?»

Рассердить Елизавету Михайловну, при ее беззаветной кротости, Пушкин не мог. Но мучительно ранить ее, «разорвать ей сердце» холодным или жестоким признанием, почти не замечая этого, — на это он шел бездумно и почти что безотчетно.

Переписка Пушкина показывает, что таким он обычно и был почти во всех своих романах. Возмущенные женские голоса, обращавшиеся к нему с признаниями, хвалами и мольбами, почти никогда не встречали желанного отзвука. «*Elégant dans ses écrits*», он в любви несомненно проявлял свои «*inclinations toutes tiers - état*». Исследователь должен склониться перед обоими приговорами Пушкина и одинаково

признать праздничный блеск его писаний и прозаическую будничность его любовных связей.

II

Так романические нравы эпохи, зачерченные в замечательном памятнике эротической литературы — дневнике А. Н. Вульфа, приоткрываются и в переписке Пушкина с его современницами.

Высокоценные как исторический документ об интимном быте пушкинской поры, они представляют и значительный интерес со стороны литературной. Словесный памятник эпохи, когда письма господствовали в повседневном быту и ощущались их авторами как законченный жанр, они во многом вскрывают и определяют законы и правила этого вида.

Письма Пушкина и его корреспонденток это не просто признания и беседы, они почти всегда закономерно оформлены и подчинены установившимся композиционным приемам, предусмотренным кодексом эпистолярного стиля.

Характерно уже то, что в большинстве случаев они написаны на языке тогдашней культурной беседы — на французском. Особый литературный жанр — «почтовая проза» — еще не получил у нас в то время достаточного развития. Вот почему, когда Пушкин решил ввести в свой роман любовное письмо Татьяны, он стал перед трудной художественной проблемой;

Доныне дамская любовь
Не из'яснялася по-русски,
Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык...

Все условия художественного правдоподобия категорически предписывали ему дать здесь стихотворный французский текст. Мы знаем, что почти полвека спустя Лев Толстой отступил в этом случае перед трудностью отказа от

иностранный язык и дал в «Войне и мире» письмо Жюли Карагиной (и диалоги великосветского общества) в безукоризненном французском оригинале.

Пушкин не скрывал трудностей передачи в русских стихах письма Татьяны, которая «по-русски плохо знала» и «выражалась с трудом на языке своем родном». И вот для своих читателей поэт дает «с живой картины список бледный», т.-е. перелагает в онегинские строфы—

страстной девы
Иноплеменные слова.

Сохранилось свидетельство о том, что Пушкин действительно с трудом и после долгих колебаний разрешил эту словесную проблему. В «Московском телеграфе» 1827 г. сообщалось со слов самого поэта о его затруднениях при разрешении этого сложного стилистического опыта:

«Автор сказывал, что он долго не мог решиться, как заставить писать Татьяну, без нарушения женского единства и правдоподобия в слог: от страха сбиться на академическую оду, думал он написать письмо прозой, думал даже написать его по-французски; но, наконец, счастливое вдохновение пришло кстат, и сердце женское запросто и свободно заговорило русским языком, не задерживая и не остужая выражений чувства справками со словарем Татищева и грамматикою Меморского».

Таким образом русское письмо Татьяны оказалось смелым художественным приемом, решительно порывавшим с установившейся культурно-бытовой традицией. Мы знаем по переписке поэта, что она и лично была близка ему. Пушкин рано воспринял старинное наследие знаменитых французских «*épistoliers*». Есть свидетельства, что мать его писала свои письма «в безукоризненном стиле какой-нибудь Севинье». Семейные письма всех Пушкиных свидетель-

ствуют об их общей причастности к классической культуре этого жанра.

Письма Пушкина во многом вскрывают основы его общего прозаического стиля. Здесь явственно обнаруживается его словесная близость к французскому XVIII веку с его поэтикой, идеологией, умственными уклонами и литературными вкусами. Острословье Вольтера и Бомарше, быстрая повествовательная манера Монтескье и Дидро, цинический скептицизм Кребильона, Ретифа, Парни и стольких других «малых поэтов» эпохи регентства и последних Людовиков, дух критической иронии, пристрастие к кощунству, уклоны к «веселому сладострастию», блеск, ясность, изящество и лаконичная меткость стиля — всем этим предшествующее столетие в лице его законодательной нации не переставало формировать литературную манеру Пушкина.

Это несомненно облегчило ему путь к законченной художественности его «почтовой прозы». Поэт использовал в своих письмах огромное количество литературных приемов. Анекдоты, каламбуры, исторические реченья, стихотворные цитаты и подчас целые поэтические фрагменты обильно расцвечивают здесь основной фон текущих сообщений. Письмо Пушкина часто приближается к жанру фельетона, сохраняя, впрочем, всегда специфические особенности эпистолярного стиля. Комическая реплика Арлекина, острый и неожиданный ответ Фонвизина, забавное возражение Артура Потоцкого, историческая фраза Мирабо о Сийесе, суждение Тиберия о Вибии Серене, восклицание Андрэ Шенье на эшафоте, возгласы Шамфора о жертвах его эпиграмм — все это цитируется среди личных признаний, придавая подчас почтовому сообщению характер живой и занимательной беседы.

«Ах, каламбур; скажи княгине, что она всю прелесть московскую за пояс заткнет, когда наденет мои поясы» (19 ноября 1826, Вяземскому).

«Жизнь жениха тридцатилетнего хуже «30 лет жизни игрока» (Плетневу, 31 августа 1830).

«... Со злости духом прочел «Духов». *Calembour! reconnais tu le sang?*» («Кюхельбекеру», 1825, дек.).

«Вот тебе мой бон-мо (ради соли вообрази, что это было сказано чувствительной девушке, лет 26). *Qu'est ce que le sentiment? Un supplement du temperament*» (Кн. Вяземскому, 10 авг. 1825).

Во всем этом сказываются явственные отзвуки той французской словесной культуры, которая с такой отчетливостью внесла принципы своих изощренных бесед в теорию оформления писем.

Всеми этими приемами Пушкин владеет в совершенстве. В его почтовых обращениях к женщинам они развертываются подчас с особым блеском и силой.

Некоторые его письма к Керн — почти сплошная игра слов, веселая и легкая болтовня, взрезанная повсеместно шутками, игривыми намеками и каламбурами. — «Я было принялся писать вам глупости, над которыми вы бы умерли со смеху», — определяет сам он эту манеру в одном из своих писем.

Пушкин не скрывал своего восхищения перед некоторыми эпистолярными образцами XVIII века, выражая в своих отзывах собственные воззрения на качества и особенности литературного письма. «Кажется одному Вольтеру, — пишет он, — предоставлено было составить из деловой переписки о покупке земли книгу, на каждой странице заставляющую вас смеяться, и придать сделкам и купчим всю заманчивость остроумного памфлета». Он высоко ценит и письма президента де-Бросса за необыкновенный талант изложения, шутливое остроумие и живость: «письмо его, как и Вольтера, исполнено ума и веселости».

Пушкин в высокой степени ощущает жанр письма и никогда не подменяет его другими литературными видами. Затрагивая всевозможные темы, он не переходит в другие

стили. Описание, речь, пейзаж литературный портрет, публицистика, памфлет, пародия — все это нигде не выступает в его письмах как самостоятельный жанр и только сообщает летучие штрихи для наиболее полного выявления основного эпистолярного стиля ¹.

Корреспондентки Пушкина, конечно, подходили к своим почтовым творениям с меньшей озабоченностью о теориях «п и с ь м а». Но известные традиции здесь несомненно сказывались. Романы в письмах им были знакомы и часто неощутимо оказывали свое воздействие на способ их выражения. Недаром Пушкин «Метели» отмечает, что при объяснении Бурмина Марья Гавриловна вспомнила первое письмо Saint-Preux. Недаром в Михайловском он перечитывает «Клариссу Гарло», взятую, повидимому, в библиотеке тригорских барышень. Общая культура письменной беседы сказывалась на этих взволнованных и нервных листках.

Пушкин оценил их и сохранил для потомства. «Письмо Татьяны предо мною — его я свято берегу...» Чрезмерно равнодушный к их авторам, он, видимо, все же ценил эти писанные исповеди. В некоторых случаях он действительно читал и перечитывал «с тайною тоскою» эту своеобразную литературу, оформленную по традициям французской эпистолярной поэтики, но при этом охваченную подчас горестным лиризмом открывшегося и отвергнутого чувства.

Часть этих писем дошла до нас. Мы можем вслед за поэтом перечесть эти старинные человеческие документы, освещающие нам его личность, его окружение, его эпоху.

¹ Ряд ценных замечаний о письмах Пушкина как литературном явлении сделаны Г. О. Винокуром («Культура языка», М., 1930, стр. 183). См. также статью Н. Степанова — «Дружеская переписка 20-х годов» в сб. «Русская проза», Л., 1926.

ПОРТРЕТ ЛУВЕЛЯ

I

Портрет Лувеля, убийцы герцога Беррийского, сыграл, как известно, большую роль в биографии Пушкина. Несостоявшийся проект ссылки поэта в Сибирь или Соловки и затем его отсылка из Петербурга в южные губернии были вызваны в значительной степени его отношением к громкому террористическому акту, взволновавшему тогдашнее европейское общество. Как свидетельствуют современники, Пушкин на масленице 1820 года показывал своим знакомым в театре портрет Лувеля со своей собственноручной надписью: «Урок царям!» Это вызвало допрос поэта военным генерал-губернатором Милорадовичем и, наконец, 6 мая 1820 года, отъезд из Петербурга — как оказалось, на шесть лет — с официальным назначением «в канцелярию главного попечителя колонистов южного края генерала Инзова».

Противники Пушкина связывали в то время его революционную репутацию главным образом с двумя именами политических убийц: немецким студентом Карлом Зандом, заколовшим реакционного публициста Коцебу, и парижским рабочим Лувелем, решившим уничтожить династию Бурбонов. Современные сатирики так и изображали поэта:

Гимн Занду на устах,
В руке — портрет Лувеля,

Между тем, до сих пор этот роковой портрет нам не был известен. Изображение Лувеля так же незнакомо нам, как и его личность, видимо, сильно заинтересовавшая Пушкина. Мы считаем поэтому не лишним ознакомить русских читателей с судьбою «убийцы герцога Беррийского».

Начнем с описания самого события.

II

13 февраля 1820 г., около 11 часов вечера сын наследника и ближайший кандидат в престолонаследники Франции герцог Беррийский вышел из здания Оперного театра, чтобы усадить свою жену в карету, намереваясь вернуться в зал и досмотреть неоконченный спектакль. В это время неизвестный человек средних лет, весьма прилично одетый, отделился от стены здания и, бросившись с молниеносной быстротой между флигель-ад'ютантом, егерем и герцогом, схватил последнего за левое плечо и вонзил ему в правый бок кинжал.

В первый момент никто не сообразил, в чем дело, «Вот еще невежа!» — крикнул флигель-ад'ютант, пытаясь приблизиться к герцогу. «Что за толчок!» — с недовольством заметил раненый, и поднося затем руку к месту удара, с ужасом крикнул: «Меня убили!» — «Вы ранены, ваше высочество?» — «Нет, нет, я умер... вот, я держу кинжал...»

Воспользовавшись этой минутой замешательства, неизвестный пускается в бегство.

Он несется в направлении соседнего театра Французской комедии, рассчитывая смешаться с толпой, раз'езжающейся после спектакля. Но площадь пуста, — представление еще не закончилось. Проезжающая карета заставляет его замедлить шаг, и в тот момент, когда он приближается к арке Кольбера, за которой он сможет считать себя в полной без-

опасности, какой-то человек бросается ему навстречу, широко раздвинув руки. Беглец пробует освободиться от него, но в это время тяжелая рука жандарма схватывает его за ворот. Через несколько минут он уже находится в караульне Оперного театра.

— Чудовище! — бросается к нему один из свитских офицеров. — Что заставило тебя совершить это ужасное преступление?

— Я выступил против величайших врагов моей страны, — спокойно отвечает арестованный.

Ему надевают наручники. Начинается допрос высшими чинами полиции. Неизвестный называет себя Луи-Пьером Лувелем, рабочим, совершившим акт справедливости по собственному замыслу, без всяких сообщников.

— Я прекрасно знал, что ожидает меня, но я знал, что этим ударом я создаю множество счастливых.

Из здания Оперного театра, где в одной из комнат администрации агонизирует герцог и где собралась вся королевская семья во главе с Людовиком XVIII, Лувеля переводят в здание министерства внутренних дел. Здесь с тем же невозмутимым спокойствием он продолжает отвечать на все вопросы.

— Вам посчастливилось захватить меня, вам помог пустячный случай. Если бы не фиакр, перерезавший мне дорогу, я был бы спасен. Ваши подозрения устремились бы выше, и я мог бы через несколько дней возобновить мою деятельность...

И когда следователи обрушивают, на него обвинения в страшнейшем преступлении, Лувель продолжает:

— Интересы народа оправдывают все. То, что вы называете преступлением, будет признано историей как подвиг.

К концу допроса он узнает, что герцог Беррийский скончался в 5 часов утра. Он сохраняет при этом глубочайшее спокойствие. С полным бесстрашием он подписывает свое имя на бумажном ярлычке, подвешенном к пред'явленному ему кинжалу.

Лувеля переводят в знаменитую тюрьму для политических — в Консьержери — и помещают его в той камере, где была заключена Мария-Антуанетта. Здесь он проводит свои последние четыре месяца в ожидании суда и приговора.

III

Личность Лувеля представляет яркий интерес по своему психологическому своеобразию. Он родился накануне Великой французской революции в беднейшем квартале Версаля, в многочисленной, нуждающейся, трудовой семье. Ему было шесть лет, когда стали разворачиваться революционные события, и он запомнил навсегда, как в октябре 1789 г. короля перевезли из Версаля в Париж. Вскоре Лувель попал в школу, где учился читать по республиканской конституции и «Правам человека и гражданина». С первых сознательных лет он уже принадлежал революции.

Вскоре после смерти отца подросток попадает в обучение к шорнику. Здесь он обучается седельному ремеслу, которое и становится его специальностью. По окончании учения он начинает скитаться по Франции и с 1801 по 1813 г. обходит несколько департаментов. Выше всего он ценит независимость, одиночество и свои свободные мечтания о лучшем будущем человечества.

В эпоху империи он остается верным последователем идей революции. Он осуждает тех, кто возвращается к католическому исповеданию, а в Наполеоне видит достойного

сына революции, непримиримого врага Бурбонов, защитника освобожденной страны.

Вот почему в 1813 году, в момент наступления союзников на Францию, Лувель вступает в национальные батальоны. С чувством глубочайшего возмущения он узнает, что в армиях неприятеля занимают высокие посты французы-эмигранты и даже видные члены королевской семьи. Глубочайшее негодование вызывает в нем известие, что «граф д'Артуа», участвовавший в наступлении союзных армий на Париж, — не какой-нибудь австрийский генерал, а родной брат Людовика XVI, один из претендентов на французский трон.

Лувель навсегда запомнил имя графа д'Артуа. Вскоре он узнает, что другая «надежда престола» — второй сын графа д'Артуа, герцог Беррийский. В апреле 1814 года, когда Франция наводнена иностранными армиями и эпоха Наполеона завершилась, этот «наследник Бурбонов» возвращается из Англии в Париж.

Лувель, глубоко потрясенный падением Наполеона, который в его глазах представлял свободную Францию и Великую революцию, покидает Париж, захваченный с помощью Бурбонов иностранными армиями, и отправляется к «великому изгнаннику» на остров Эльбу. Он поступает в качестве седельного мастера в конюшни Наполеона, откуда пристально следит за политической жизнью Парижа.

Знаменитые «100 дней» Наполеона, его окончательное падение, заточение на остров Св. Елены и торжество Бурбонов, воцарившихся над опозоренной ими нацией, заставляют Лувеля перейти к действию. Он должен выступить во имя идеи революции против захватчиков власти. С июля 1815 года Лувель обрекает себя на героическую роль исполнителя народного мщения. Он поселяется в Париже и здесь, в полном одиночестве, ни с кем не общаясь и скры-

вая решительно ото всех свой замысел, в течение пяти лет, с величайшей осторожностью, находчивостью и планомерностью, подготавливает свой террористический акт.

Он всесторонне обдумывает все подробности плана. Король — дряхлый старик, одной ногою уже стоящий в могиле. Брат его, граф д'Артуа, тоже стар и, конечно, снова не женится. Его старший сын, герцог Ангулемский, бездетен. Все они должны быть искоренены, но первая очередь за младшим сыном графа д'Артуа, герцогом Беррийским, который, по народному свидетельству, «всюду сеет детей», недавно женился и считается «плодоносной ветвью» бурбонской фамилии. С его уничтожением династия угаснет. Выбор решен.

По самым разнообразным источникам Лувель узнает все подробности личной жизни герцога Беррийского и обдумывает наилучший способ осуществления своего плана. Недовольство народа Бурбонами с каждым годом растет и укрепляет Лувеля в его решении. И когда в феврале 1820 года ему предстоит длительный отъезд из Парижа он решается выполнить задуманное. 8 февраля он идет на кладбище Пэр-Лашез и посещает могилы наполеоновских маршалов. Имена его любимых героев вдохновляют его. Он принимает окончательное решение. Ему кажется, что весь народ ожидает его поступка, что вся Франция кричит ему: «Нанеси удар, ты осчастливишь всех!»

Зная, что герцог посещает театры, Лувель тщательно изучает афиши. Он узнает, что в воскресенье, 13-го, в опере большой парадный спектакль. Это — верный шанс встретиться с герцогом. Лувель назначает на этот вечер выполнение своего замысла.

К 7 часам он у здания театра. Начинается с'езд. Под'езжает хорошо знакомая придворная карета. Лувель приближается к ней. Герцог выходит. Полная возможность в одно

мгновение покончить с ним. Но решимость изменяет Лувелю. Он отходит. В этот момент свитский офицер кричит кучеру: «В одиннадцать без четверти!»

Лувель проводит несколько часов в состоянии величайшего душевного смятения. К половине одиннадцатого он снова у театра и, спрятавшись за кабриолет, не отводит глаз от главного выхода. Вот подают придворную карету, в вестибюле театра стража отдает честь, вот, наконец, появляется герцог. — «Теперь или никогда!»

Долгожданный план выполнен. Лувель принес себя в жертву.

Через три месяца, после подробнейшего следствия, верхняя палата, переименованная в верховный трибунал, приговаривает Лувеля к гильотине.

IV

Вернемся к Пушкину. Отголоски громкого политического убийства вскоре дошли до Петербурга. Пушкин, несомненно живо интересовавшийся в то время проблемой политического террора (убийство Павла I, поступок Карла Занда), мечтавший сам «кровавой чаше причаститься», отнесся с жадным вниманием к историческому жесту Лувеля. То обстоятельство, что поэт раздобыл себе портрет «убийцы герцога Беррийского» и решился показывать его в театре, свидетельствует об его напряженном интересе к этому событию.

Каким образом портреты Лувеля могли в то время дойти до Петербурга? Это объясняется, видимо, тем, что французское правительство, желая возбудить в определенном направлении общественное мнение, выпустило в то время ряд изданий, посвященных «ужасному убийце». Мы находим об этом любопытные сведения в воспоминаниях Сологуба, который в 1820 году ребенок был в Париже. «Однажды отец

мой вернулся из большой оперы совершенно смущенный. Он был свидетелем убийства герцога Беррийского, наследника престола. На другой день на улицах суматоха была страшная. Со всех сторон толпился народ и двигались войска... Через несколько часов весь Париж запрудился реляциями, плачевными брошюрами и печатными песнями, в особенности же литографиями. Одна изображала сени большой оперы в тот момент, когда врачи осматривали рану злополучного герцога, другая — минуту его кончины, третья — портрет умиравшего с надписью: «Pauvre France! Malheureuse patrie!», четвертая — портрет убийцы Лувеля с рисунком кинжала, послужившего к убийству и т. д. Парижская неугомонная спекуляция взбудорожилась...» (Воспоминания В. А. Сологуба, П., 1887, стр. 16).

Эти портреты бесстрашного террориста, конечно, искажали его облик, придавали ему зверский вид и вполне подкрепляли его характеристики, как «исчадия ада». Одно из таких изданий королевского правительства могло проникнуть и в Россию ввиду своего тенденциозного антиреволюционного характера ¹.

Во всяком случае поступок Лувеля произвел сильнейшее впечатление на Пушкина. В 1821 г. он пишет свой знаменитый «Кинжал» — стихотворение, которое расходилось в сотнях списков. Он, очевидно, имеет в нем в виду не только студента Занда, убившего литератора Коцебу. Стихи: «Ты

¹ Ю. Г. Оксман сообщил, что портрет Лувеля появился в июньской книжке «Вестника Европы», 1820 г., ч. III, № 12, т.-е. уже после высылки Пушкина на юг (Изв. Од. Губисполкома, 1923, № 1084). Н. О. Лернер напомнил, что Александр Тургенев писал 3 марта 1820 г. П. А. Вяземскому, что у него имеется портрет Лувеля («Остафьевский архив», II, 27. — См. «Красную газету», 1 ноября 1928 г.).

кроешься под сенью трона, под блеском праздничных
одежд» ясно указывают, что знаменитая ода «тайному стра-
жу свободы» воздает хвалу и убийце герцога Беррийского—
Лувелю¹.

¹ Пушкин, видимо, надолго сохранил воспоминание об этом событии. В зашифрованной X главе «Онегина», посвященной декабрьскому движению, имелся, по чтению некоторых исследователей, и следующий стих:

Кинжал Лувеля пел Бирон.

(Д. Н. Соколов. По поводу зашифрованного стихотворения Пушкина. «Пушкин и его современники», XVI, 1—11.)

ПУШКИНСКИЙ УГОЛОК

I

Тихие, глубокие, неподвижные озера. Вековые сосны, нависшие широкими шатрами над извилистой лесной дорогой. Медленная, почти зеркально-застывающая Сорочь, поистине, «лоно сонных вод»... И затем холмы и жнивья вплоть до синееющих на горизонте новых рощ и только кое-где разбросанные хаты, почти не нарушающие редкими пятнами своих почерневших кровель этого широкого разлива природы, немного унылого, но прекрасного пейзажа Псковской области.

Так вот он, этот «далекий северный уезд», куда 9 августа 1824 года, после усиленной правительственной переписки, прибыл на новый этап своего изгнания Пушкин. Здесь он провел «отшельником два года незаметных»... Здесь были написаны «Борис Годунов», центральные главы «Онегина», конец «Цыган». Отсюда в осеннюю ночь под охраной фельд'егеря, «свободно, но под надзором» Пушкин выехал в Москву по вызову Николая, решившего загладить эффектным жестом — прощением «опального поэта» — гнетущее впечатление от казни декабристов. Сюда, наконец, в зимнюю вьюгу Александр Тургенев привез гроб с телом затравлен-

ного поэта, которое и было предано погребению на отвесном холме, под густой тенью вязов, лип и древних сооружений.

Это один из главных узлов пушкинской биографии. За столетие здесь, конечно, многое изменилось. Особенно—за последнее десятилетие. До 1914 г. пушкинские места Псковской губернии сохраняли почти без изменений свой старинный облик. Накануне войны биограф Пушкина еще мог изучать здесь почти во всем объеме обстановку ссылки поэта.

Война и революция преобразили эти глубокие «затишья». Западный фронт проходил в 3 — 4 десятках верст от мест пушкинского изгнания. История последнего десятилетия бурно проносилась над музейными ценностями и литературными памятниками, часто не имея времени задуматься над их дальнейшей участью.

Отсюда новый облик «пушкинских мест». Следов поэта здесь меньше, чем это было недавно, но они не вовсе исчезли. Пушкина здесь продолжаешь чувствовать и в природе, напоминающей пейзаж «Онегина», и в остатках немногих старинных зданий, и особенно в живых преданиях этих мест.

Среди обитателей «Опочецкого уезда» немало людей, знавших недавно лишь ушедшее поколение современников поэта. Вот, например, «дворовый человек» тригорских помещиков, на руках которого скончалась в начале 80-х годов сама Евпраксия Николаевна Вревская (рожденная Вульф), резвая собеседница Пушкина, до конца считавшая себя прототипом Татьяны. Старичок Федор Михайлович охотно делится с вами своими воспоминаниями о жителях Тригорского.

«Вот здесь стояла баня, куда отсылали ночевать Пушкина; Евпраксия Николаевна, покойница, говаривала: «Мать боялась, чтобы в доме ночевал чужой мужчина. Ну, и послали его в баню, иногда с братом Алексеем Николаевичем (Вульфом). Так и знали все». И недавно еще, когда стояла

баня, посетители всегда откалывали себе по кусочку «с пушкинского жилища», так что все углы избы пообкололи. Да вот и с нижних ветвей этого дуба все листья сорвали — на память о Пушкине. И верно: покойный Александр Борисович (сын Евпраксии Вульф) сам мне рассказывал: «Вот здесь моя мама гуляла с Пушкиным...»

Оглядываем место этих прогулок поэта с «Зизи». Невысокий холм, развесистый дуб, получивший пушкинское прозвище «лукоморье», зеленые поляны. Невдалеке «солнечные часы» — лужок, в свое время окаймленный двенадцатью дубами.

Пушкин и обитательницы Тригорского вели оживленную переписку. Устные предания свидетельствуют о любопытном и прискорбном факте. Женщина-врач, лечившая еще недавно дочь Евпраксии Вульф — Софью Борисовну Вревскую, слышала от нее следующее:

«Мать моя передала мне на хранение большую пачку писем к ней Пушкина. Она завещала мне хранить их при жизни, но ни в коем случае никогда и никому не передавать их. О существовании этих писем стало многим известно, и ко мне приезжали различные ученые; прося меня предоставить им эти старые письма великого поэта к давно умершей женщине. Должна сознаться, что эти лица были очень красноречивы и убедительны. Я чувствовала, что решение мое слабеет. И вот, чтоб не поддаться окончательно их уговорам и не нарушить воли матери, я передала всю пачку писем сожжению...»

Таков один из недавних тяжелых ударов пушкинизму. Сколько живых, колоритных и характерных деталей о пребывании Пушкина в «лесах Тригорских» утрачены навсегда с исчезновением этой пачки его писем!

Лучшее место Тригорского — обрыв над Соротью. Густая тенистая роща покрывает вершину склона. В тени —

скамья старинного фасона: «диван Онегина». Внизу извилистая лента Сороти, убегающая полями к горизонту. Над ней, в отличие от пейзажа пушкинской поры, повисли вдали два моста — железнодорожный и шоссейный. Все остальное сохранилось неприкосновенным.

Вспоминаются превосходные стихи Языкова, гостившего у Вульфов и с этих мест выглядывавшего приезд своего михайловского друга. Перед нами широким ковром раскинулись

...те отлогости, те нивы,
Из-за которых вдалеке
На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый,
Спеша в Тригорское, один —
Вольтер и Гете, и Расин —
Являлся Пушкин знаменитый...

«Отлогости» и «нивы» переходят в высокие земляные насыпи Воронича. Это — древний город-крепость, по преданию, возникший еще в эпоху ливонских войн. Пушкин упоминает это место своих верховых поездок в стилизованном заглавии «Бориса Годунова»: «писано в лето 7333 на городище Ворониче...»

II

За земляными насыпями этой древней крепости открывается дорога в Михайловское. Лес становится понемногу благоустроеннее, дорога переходит в аллею, роща превращается в парк, появляются остатки мостика из березовых стволов над прудом и вот, наконец, серые широкие ворота в усадьбу поэта. Они, конечно, позднейшего происхождения и, в сущности, мало гармонируют с окружающим. За ними садовая дорога, окаймляющая большой круглый газон с развесистым вязом. За кругом остатки прежних строений: фундамент пушкинского дома, исчезнувшего еще в прошлом

столетия и замененного впоследствии «домом-музеем», также сгоревшим.

О домике поэта, о расположении в нем комнат можно судить лишь по остаткам фундамента. Вековые глыбы серых валунов, сцепленных крепким цементом, как бы образуют просторные рамы вокруг диких порослей, покрывающих сплошным зеленым переплетом поверхность старого цоколя. Ступаешь в густой разросшейся траве по тому небольшому клочку земли, где писались великие создания эпохи пушкинской зрелости.

Рядом — сохранившийся во всей неприкосновенности так называемый «домик няни». Название это привилось и, видимо, прочно закрепилось за маленьким строением старой усадьбы. Но приурочение его к няне поэта едва ли соответствует исторической действительности. Знаменитая Арина Родионовна жила, видимо, в большом доме, бок-о-бок со своим питомцем. «Домик няни», который на некоторых изображениях именуется иногда и «домиком А. С. Пушкина», представлял собой, вероятно, какое-нибудь служебное помещение, вроде девичьей.

Во всяком случае, это — единственная постройка пушкинского времени, сохранившаяся в Михайловском до наших дней. Она фигурирует на всех старинных гравюрах. Перед нами, несомненно, здание, видевшее в своих стенах поэта. Он ступал на это низенькое крыльцо с навесом на подгнивших столбиках, входил в длинную и узкую переднюю, бывал в двух довольно просторных комнатах, увешанных теперь изображениями «няни» и всеми пушкинскими стихами, ей посвященными. Этот маленький домик — единственный скромный обломок архитектурного прошлого, дающий представление о типе и облике пушкинской усадьбы.

За ним зеленый склон, сбегаящий к озеру, за которым высится древний погост — «Савкина гора», любимое место

поэта. Уже в 1831 г. он сообщил П. А. Осиповой о своем желании выстроить себе здесь избушку, поставить свои книги и приезжать сюда для работы и отдыха.

Савкина гора — древний погост. Остатки могил, почерневшее каменное надгробие какого-то полулегендарного «Саввы» сохранились на площадке холма. Вид отсюда на Сороть, озера, луга и рощи необыкновенно красив.

Дикий садик Михайловского, видимо, мало изменился. От ворот налево тянется густая липовая аллея, — та самая, по которой Пушкин гулял с Анной Петровной Керн.

«Корни старых деревьев, — рассказывала впоследствии собеседница Пушкина, — сплетаясь, вились по дорожке, что заставляло меня спотыкаться, и моего спутника вздрагивать...»

Невольно останавливаешься в раздумьи под этими старыми липами, где зародились прекраснейшие строфы нашей любовной лирики, знаменитое посвящение Керн: «Я помню чудное мгновенье...»

И, наконец, — третье место пушкинского уголка — «Святые горы» (переименованные теперь в связи со столетием ссылки поэта в «Пушкинские горы»).

Это — небольшое местечко, живописно раскинувшееся по холмам вокруг монастыря эпохи Ивана Грозного. Здесь сохранились ворота, у которых Пушкин слушал пение нищих слепцов, собирая материалы для народных сцен «Бориса Годунова». Здесь происходила ежегодно большая летняя ярмарка, которую поэт охотно посещал, поражая местных жителей своим необычным костюмом и странными манерами.

В сохранившемся старинном дневнике торговца из Опочки, некоего Лапина, имеется под 29 мая 1825 г. следующая любопытная запись: «Имел щастие видеть Александра Сергеевича г-на Пушкина, который некоторым образом удивил странною своею одеждою... У него была надета на голо-

ве соломенная шляпа, в ситцевой красной рубашке опоясавши голубою ленточкою, с железной в оуке тростью, с предлинными черными бакенбардами, которые боле походят на бороду, так же с предлинными ногтями, с которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я думаю, около полудюжины...»

Эта наивная и колоритная запись дает лучшую зарисовку Пушкина михайловского периода.

Вблизи от мест этой старинной ярмарки на холме, у стен монастыря — могила Пушкина. Он похоронен в том месте, которое незадолго до смерти сам приобрел для себя. Рядом — могилы его предков Ганнибалов. Памятник Пушкина прост и изящен. На широком гранитном цоколе белый мраморный свод, подпирающий такой же тонкий обелиск. Под сводом небольшая мраморная урна, полуприкрытая покрывалом. На гранитном фундаменте лаконическая надпись — имя поэта и даты его рождения и смерти. Вокруг — чугунная решетка. Склон холма за могилой огражден балюстрадой из белого и серого мрамора, воздвигнутой сравнительно недавно. Такова «соседняя долина», принявшая «охладелый прах» поэта.

От времени до времени — раза три в столетие — имя Пушкина становится источником широкого общественного оживления. Так было в 1880 г. при открытии московского памятника поэту, так было в 1899 г., в дни празднования его столетней годовщины, так оказалось и в дни теперешних поминок его ссылки в село Михайловское.

В пушкинские места к 12 — 15 сентября (дни об'явленных празднеств) с'ехали многочисленные представители научных и литературных организаций Москвы и Ленинграда, делегаты и учащиеся из Пскова и Опочки.

Здесь были представлены Академия Наук, Пушкинский дом, Главнаука, Всероссийский Союз Писателей (Москов-

ское и Ленинградское отделения), Московский университет и рабфак имени М. Н. Покровского, Институт изучения искусств, Ленинградский губнаробраз, Псковский союз работников просвещения и многие другие.

В отличие от прежних пушкинских торжеств здесь впервые прозвучало слово о Пушкине крестьян (т. Семенов) и рабочих (представитель ленинградских металлистов).

Местный крестьянин, прекрасно помнящий происходившие здесь в 1899 г. пушкинские празднества, отметил, что от тогдашних делегатов крестьяне ничего не узнали о борьбе Пушкина с самодержавием. Только теперь им сообщили об этом, и они могут с благодарностью сказать: «Пушкин

Общий порядок празднования был разделен на три дня. был наш друг»...

В пятницу 12 сентября в 6 часов вечера на холме у волисполкома чествования открылись речами официальных представителей. Затем громадная толпа двинулась организованным маршем, под звуки оркестра, к могиле Пушкина, где были возложены венки различными депутациями и произнесены речи тремя делегатами: от Москвы, Ленинграда и Пскова. Собрание было перенесено затем в здание народного дома, где в торжественной обстановке, перед портретом поэта, были произнесены речи, приветствия и доклады съехавшимися делегатами. Следующий вечер был посвящен литературным выступлениям приехавших писателей и артистов. Наконец, в воскресенье 14 сентября в селе Михайловском, в саду поэта, состоялся многолюдный и необыкновенно оживленный митинг.

В тот же день в Михайловском был заложен будущий «Пушкинский музей» устройством временной выставки «Пушкин в селе Михайловском». Гвоздем ее явилась новонайденная грамота 1746 г. о пожаловании Абраму Ганнибалу села Михайловского. Этот елисаветинский документ

представляет первостепенный интерес для истории места ссылки Пушкина.

Нужно думать, что Пушкинский с'езд в сентябре 1924 г. оставит свои следы. Места, связанные с памятью поэта и объявленные в 1922 г., по почину Пушкинского дома, государственным заповедником, могут обогатиться новыми учреждениями и памятниками. Желательно развитие возникающего музея, реконструкция некоторых строений, установка в Михайловском первых памятников как самому поэту, так и верному другу его изгнания — Арине Родионовне. Ленинградское общество архитекторов-художников объявило конкурс на памятник Пушкину в селе Михайловском. Нужно признать, что «малый сад» поэта, лишенный его старого домика, действительно ждет и словно требует художественного увековечения его памяти.

Не так далеки от нас четвертые «великие поминки» по Пушкину: 29 января 1937 г. Закончится ли к этому сроку академическое издание поэта, начатое еще в 1899 году? Воздвигнется ли новый памятник в селе Михайловском? Пустит ли корни новооткрытый в нем музей? Будем думать, что живой и бодрый тон только что отзвучавших празднеств является благоприятным показателем. В новых условиях жизни пушкинизму, быть может, суждено из явления книжного и теоретического стать живым и действенным культурным фактором. Прав окажется современный поэт, обратившийся недавно к облику Пушкина:

Сколько слав поникло сжатым стеблем,
Сколько тронов взято в топоры,
Только твой треножник не колеблем
Чернью, потрясающей мира¹.

1924

¹ Стихотворение Влад. Василенко «Наш».

ЖЕНИТЬБА ДАНТЕСА

I

Один из петербургских великосветских браков 30-х годов — женитьба кавалергардского поручика Дантеса на фрейлине Екатерине Гончаровой — давно уже стал крупным фактом нашей литературной истории. В запутанный ход событий, приведших к смерти Пушкина, это бракосочетание вплелось весьма заметным эпизодом, сильно осложнившим взаимоотношения всех заинтересованных лиц и не только не устранившим, но даже несомненно ускорившим катастрофическую развязку.

Между тем, история женитьбы Дантеса до сих пор представляет ряд непонятных и загадочных обстоятельств. Пересмотр известных документов и привлечение некоторых неизданных материалов освещает по-новому эту блестящую свадьбу, столь тесно связанную с одной из самых траурных страниц русского прошлого.

Обратимся к одному из таких свидетельств.

Перед нами неизданное письмо австрийского барона Густава Фризенгофа к его племяннице Александре Петровне Араповой.

Фризенгоф был мужем Александры Николаевны Гончаровой (сестры Натальи Николаевны Пушкиной), той самой

Александрины, или Азиньки, которая была близким другом Пушкина в последние годы его жизни. Она, как известно, воспитывала его детей, вела хозяйство, материально помогала Пушкину, даже предоставляя ему для заклада свои ценности. Кроме нее никто не знал об отправлении Пушкиным 26 января замаскированного вызова Геккерну. Не мать, а именно она приводила к смертному одру Пушкина его детей для последнего прощания, и ей поэт, умирая, просил передать на память свой крестик с цепочкой. Александрина заслужила это предсмертное внимание. Сам Сергей Львович Пушкин заметил вскоре после смерти сына: «Сестра Наталья Николаевна более, чем она сама, огорчена потерей ее мужа...»

Свояченица Пушкина долго оставалась верна его памяти. Только в 1852 г. она вышла замуж за чиновника австрийского посольства Фризенгофа. Он-то и записал на склоне лет со слов своей жены семейные предания о гибели Пушкина.

Адресат его письма А. П. Арапова, рожденная Ланская, — дочь Натальи Николаевны Пушкиной от ее второго брака с П. П. Ланским. Она известна в пушкинской литературе воспоминаниями о своей матери, напечатанными в «Новом времени» в 1907 — 1908 годах. Но готовиться к этой литературной работе она начала задолго до ее публикации, еще в 80-х годах. Судя по дате нижеприводимого письма, она обратилась в 1887 году к своим престарелым родственникам Фризенгофам с просьбой сообщить ей воспоминания о предсмертной истории Пушкина. В то время ее родная тетка Александра Николаевна доживала свой долгий век за границей (видимо, в Италии), ей было под восемьдесят и, вероятно, слабое состояние ее здоровья заставило ее вместо записи продиктовать свои воспоминания мужу, который присоединил к ним некоторые свои соображения. Письмо это — по целому ряду живых подробностей и новых со-

общений — представляет несомненный интерес для изучения печальнейшего из поединков.

Приведем главную часть письма, датированного 14 — 26 марта 1887 года ¹.

«Я запоздал на несколько дней, дорогая Азинька, с отправкой сведений об интересующей вас трагедии, подробности которой ваша тетушка (Александра Николаевна Фризенгоф) разыскивала в своей памяти: их было мало, и я предполагал, что, быть может, найдутся еще другие. Но так как это предположение не оправдалось, я напишу вам последовательно то, что сообщила мне моя жена.

Дантес, — ибо в то время таково было его имя, — вошел в салон вашей матери, как многие другие офицеры гвардии, посещавшие ее. Он страстно влюбился в нее, и его ухаживание переходило границы, которые обычно ставятся в таких случаях. Он оказывал внимание исключительно вашей матери, пожирал ее глазами даже когда он с ней не говорил; это было ухаживание, более афишированное, чем это принято обыкновенно.

Следствием этого явилось то, что об этом пошли усиленные толки и что Пушкин был этим сильно раздражен; это было, как мне кажется, вполне естественно, тем более, что нашлись лица, которые вмешались, чтоб еще сильнее возбудить его. Александрина вспоминает, что среди них находился и некий князь Гагарин, который написал Пушкину письмо в таком именно смысле ².

Молодой Геккерн принялся тогда притворно ухаживать за своей будущей женою, вашей теткой Катериной ³; он хотел сделать из нее ширму, за которой он достиг бы своих целей. Он ухаживал за обеими

¹ Письмо написано по-французски; приводим его в переводе.

² Долгое время имя И. С. Гагарина называлось рядом с именем П. В. Долгорукова в числе наиболее вероятных авторов анонимных ноябрьских пасквилей. Одним из первых встал на защиту Гагарина писатель Е. С. Лесков в статье «Иезуит Гагарин в деле Пушкина» («Ист. вестник», 1886, VIII). Последнее время розыскания Б. Л. Модзалевского и П. Е. Щеголева определенно указывают на Долгорукова, как на автора пасквилей.

³ Старшая сестра Н. Н. Пушкиной — Екатерина Николаевна Гончарова, в замужестве Геккерн.

сестрами сразу. Но то, что для него было игрою, превратилось у вашей тетки в серьезное чувство.

Пушкин, вследствие своей кипучей природы, вследствие влияний, продолжавших воздействовать на него, и, накопив, самой природы сложившегося положения вещей не мог им быть удовлетворенным; он отказал в своем доме Геккерну и кончил тем, что заявил: либо тот жениться на Катерине, либо будут драться.

Жена моя сообщает мне, что она совершенно уверена в том, что во все это время Геккерн видел вашу мать исключительно в свете и что между ними не было ни встреч, ни переписки.

Но в отношении обоих этих обстоятельств было все же по одному исключению. Старый Геккерн написал вашей матери письмо, чтобы убедить ее оставить своего мужа и выйти за его приемного сына. Александрина вспоминает, что ваша мать отвечала на это решительным отказом, но она уже не помнит, было ли это сделано устно или письменно.

Что же касается свидания, то ваша мать получила однажды от г-жи Полетики¹ приглашение посетить ее, и когда она (Н. Н. Пушкина) прибыла туда, то застала там Геккерна вместо хозяйки дома; бросившись перед ней на колена, он заклинал ее о том же, что и его приемный отец в своем письме. Она сказала жене моей, что это свидание длилось только несколько минут, ибо, отказав немедленно, она тотчас же уехала.

Итак, замужество было решено. Жена моя сообщает мне, что этому предшествовали бесконечные переговоры, которыми руководила ваша двоюродная бабка Катерина², в то время бывшая постоянно в доме, но что сама она, Александрина, не была в курсе этих бесед, вот почему воспоминания об этом периоде у нее отсутствуют совершенно.

Бракосочетание состоялось в часовне княгини Бутера³, у которой затем был ужин. Ваша мать присутствовала на обряде венчания, согласно воле своего мужа, но уехала сейчас же после службы, не оставшись на ужин. Из семьи присутствовал только ваш дядя Дмитрий⁴.

¹ Идалия Григорьевна Полетика, побочная дочь Г. А. Строганова и жена кавалергардского ротмистра.

² Екатерина Ивановна Загряжская (1779—1842).

³ Жена посланника неаполитанского и обских Сицилий ди-Бутера-э-ди-Радоли.

⁴ Дмитрий Николаевич Гончаров, брат Н. Н. Пушкиной.

который находился тогда в Петербурге, и ваша старая тетка Катерина (Загряжская).

Я забыл упомянуть в соответственном хронологическом месте, что в продолжение помолвки дом Пушкина был закрыт для Геккерна, и он виделся со своей невестой только у вашей старой тетки Катерины.

Дом (Пушкиных) оставался закрытым для Геккерна и после брака, и жена его также не появлялась здесь; она вернулась сюда еще один раз, чтобы проститься со своей сестрой, которая оставила Петербург через несколько дней после трагического события.

Но они встречались в свете, и там Геккерн продолжал демонстративно восхищаться своей новой невесткой; он мало говорил с ней, но находился постоянно вблизи, почти не сводя с нее глаз. Это была настоящая бравада, и я лично думаю, что этим Геккерн намерен был засвидетельствовать, что он женился не потому, что боялся драться, и что если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого.

Пушкин не принял этого положения вещей, ибо характер его не допускал этого, и он воспользовался представившимся случаем, чтоб вспыхнуть и написать старому Геккерну известное письмо, которое могло быть смыто только кровью.

В свое время мне рассказывали, что поводом послужило слово, которое Геккерн бросил на одном большом вечере, где все они присутствовали; там находился буфет, и Геккерн, взяв тарелку с угощением, будто бы сказал, напирая на последнее слово: это для моей законной. Слово это, переданное Пушкину с раз'яснениями, и явилось той каплей, которая переполнила чашу¹.

Тетка ваша с уверенностью утверждает, что эта резкая развязка драмы была решена Пушкиным без какого-либо совещания с его близкими друзьями — Жуковским и другими; он был человеком, действующим самостоятельно и решительно.

После катастрофы ваша тетка (Александрина) видела Пушкина только раз, когда она привела ему детей, которых он хотел благословить перед смертью.

В продолжение этих жестоких дней ваша двоюродная бабка (Загряжская) в сущности не покидала квартиры (Пушкиных). Графиня Жюли Строганова и княгиня Вяземская также находились здесь почти безотлучно, стараясь успокоить и утешить, насколько допускали это обстоятельства.

¹ Случай этот был известен, но в несколько ином варианте.

Ваша тетка (Александрина) перед своим чрезвычайно быстрым отъездом на Завод ¹ после катастрофы был у четы Геккерн и обедала с ними. Отмечаю это обстоятельство, ибо оно, как мне кажется, указывает, что в семье и среди старых дам, которые постоянно находились там и держали совет, осуждение за трагическую развязку падало не на одного только Геккерна, но, несомненно, также и на усопшего.

Мне рассказывали в свое время, что, когда Пушкина привезли домой смертельно раненым, первое, что он сказал своей жене, было заявление о его уверенности в ее невинности. Я спрашивал жену, помнит ли она это, но она отвечала, что не помит. Ее не было дома, когда привезли раненого, и она сказала мне, что относительно последующих дней в памяти у нее — полный хаос. Но мне кажется, что сказанное мне может считаться истинным, ибо воспоминания в то время были свежи.

Я спрашивал у Александрины, какое впечатление сохранила она о душевном состоянии своей сестры в продолжение этого печального романа. Она ответила, что ваша мать, несомненно, была тронута этой великой страстью, зарожденной ею помимо ее воли, но она не думает, чтобы к этому примешивалось серьезное чувство.

Чтобы закончить, я прибавляю еще одно личное воспоминание. Я провел в 1869 году три недели в Париже, где познакомился с нашими племянницами ², и я много виделся с семьей (Геккернов). Однажды, уже не знаю как, в беседе с Геккерном мы заговорили о вашей матери, и он затронул тему этой трагедии. Я сохранил воспоминание о впечатлении, которое я вынес от выражения правдивости и убежденности, с каким он возгласил и защищал — не чистоту вашей матери, она не была под вопросом, — но ее совершенную невинность во всех обстоятельствах этого печального события ее жизни.

Вот и все. Мне кажется, я понимаю, какого рода подробности вы особенно желали бы получить и боюсь, что их найдется немного в том, что я мог вам сообщить. Я вообще думаю, что если вы останетесь верны вашему намерению, вы столкнетесь с непреодолимыми трудностями. Ведь лица, которые по своим отношениям, положению в свете и возрасту были призваны участвовать в этой драме, имевшей место

¹ Имение Гончаровых Полотняный Завод, Калужской губернии.

² Дочери Екатерины Николаевны и Дантеса-Геккерна: Матильда-Евгения, в замужестве Метман (1837—1893), Берта-Жозефина, в замужестве Вандаль (1839—1908) и Леони-Шарлотта, неважущая (ум. 1888).

более полустолетия назад, и знавшие не только то, что было известно всем, но и то, что происходило за кулисами, — из них никого уже нет в живых. А если бы случайно вы и нашли кого-нибудь, остается узнать послужила ли этому лицу его память лучше, чем она служит Александрине: ведь она была тогда молода, а все знавшие сущность происшедшего были намного старше ее. Письма того времени могли, быть может, послужить вам, но их было бы трудно раздобыть.

Если вы возьметесь за вашу книгу и пожелаете иметь подробности по какому-нибудь особенному вопросу, не откажите написать нам. Я думаю, что немного колеблющаяся память лучше справится с отдельным вопросом, нежели с целым длительным воспоминанием

Александрина перечла только что мое письмо, и не нашла в нем ничего для исправления, кроме двух незначительных поправок, которые вы заметили выше»¹.

Таковы воспоминания о дуэли Пушкина Александры Гончаровой, записанные ее престарелым мужем. Это добросовестное и бесхитростное изложение событий бросает ряд новых черт и подтверждает ряд фактов, из которых многие до сих пор могли считаться сомнительными. Письмо посланника Геккерна к Наталье Николаевне об'ясняет исключительную резкость письменного оскорбления, брошенного в ответ Пушкиным. Новое освещение январского поведения Дантеса проливает неожиданный свет на ход событий и во многом раз'ясняет неизбежность дуэли не для Геккернов только, но и для самого Пушкина. Свидание в кавалергардских казармах, провокационные остроты Дантеса, наконец, и некоторые характерные бытовые подробности — все это выступает из поздней мемуарной записи одной из ближайших свидетельниц и даже участницы предсмертной драмы Пушкина. Нельзя пройти и мимо невольного указания на глубокое личное потрясение Александры Николаевны

¹ За предоставление мне этого письма выражаю мою благодарность Пушкинскому дому в лице Н. В. Измайлова, М. Д. Беляева и В. Б. Враской. — Мы опускаем конец письма, не имеющий отношения к предсмертной истории Пушкина.

агонией поэта — об этих днях в памяти у нее «полный хаос»: даже через полстолетия она не в силах говорить о них.

II

Письмо Фризенгофа лишний раз подчеркивает, какую огромную важность имела женитьба Дантеса в семье, жизни и в истории смерти Пушкина.

Но, оказывается, это событие великосветской хроники приобретало в условиях тогдашней официальной действительности и заметное государственное значение.

Оказывается, вопрос о женитьбе Дантеса в течение шести недель усиленно трактовался главнейшими представителями верховной русской власти. Обер-прокурор синода, военный министр, вице-канцлер, министр внутренних дел, петербургский митрополит ведут об этом переписку, которая восходит, наконец, к самому императору Николаю, собственноручно постановляющему на ней свою резолюцию¹.

Первая трудность возникла из необходимости установить право Дантеса на брак, т.-е. его холостое состояние. Личное заявление его было, конечно, недостаточно, выписка с родины соответственных свидетельств могла оттянуть бракосочетание на долгие недели. Со свадьбой же спешили. И вот на помощь Дантесу приходят его друзья из французского посольства. В присутствии нескольких официальных лиц, закрепляя свое заявление печатью королевской миссии, секретарь французского посольства д'Андре и два атташе— д'Аршиак и де-Флагак—свидетельствуют 5/17 декабря 1836 г., что Жорж-Шарль Геккерн никогда не состоял

¹ Последующие документы и сведения заимствуем из «Дела канцелярии обер-прокурора святейшего правительствующего синода, № 20568».

в браке¹. Но этим далеко не устранялись матримониальные затруднения.

Дантес и сам посланник Геккерн были католиками. Брак на русской и православной ставил жениха в необходимость принять русское подданство и воспитывать своих детей в православии. Таков был принцип русского семейного права николаевской эпохи.

При бракосочетании с лицом русской национальности супруг - иностранец вступал в русское подданство, принимал православие и тем самым закреплял свое потомство за российским государством и православной верой. Согласно правительственной системе Николая I, отклонения от этого патриотического порядка законом не допускались и, стало быть, могли воспоследовать лишь по высочайшему благоусмотрению.

Геккерны не считали возможным для себя принять этот порядок. Голландский посланник в свое время переменял протестанское исповедание своей семьи на католичество и, видимо, не желал передавать свое имя православному потомству.

И вот друг и покровитель нидерландского представителя вице-канцлер Нессельроде обращается 1 декабря 1836 года к обер-прокурору синода со следующим заявлением:

*Обер-прокурору Правительствующего синода
Графу Н. А. Протасову.*

Милостивый государь

граф Николай Александрович.

Пребывающий здесь нидерландский посланник, барон Геккерн, просит исходатайствовать дозволение усыновленному им барону Георгу-Карлу Геккерну, служащему поручиком в кавалергардском ее импера-

¹ После перечисления лиц, принимавших участие в составлении акта, следует: «...lesquels ont par ces présentes certifié et attesté pour notoriété à qui il appartiendra, que M-r Georges Charles de Heeckeren est célibataire et qu'il n'a jamais été marié».

торского величества полку, вступить в законный брак с фрейлиною Екатериною Николаевною Гончаровой с разрешением, чтобы имеющие родиться в сем браке дети были крещены и воспитываемы в исповедуемой бароном Георгом-Карлом Геккерном вере.

Покорнейше прося ваше сиятельство сделать зависящее от вас распоряжение по домогательству нидерландского посланника и о последующем почтить меня уведомлением, имею честь быть с совершенным почтеньем и преданностью

Вашего сиятельства покорнейшим слугою Гр. Нессельрод.

Декабря 1 дня 1836 года.

Этим обращением открывается довольно сложная ведомственная переписка. К заявлениям и отношениям сановников прилагается письмо невесты — влюбленной и счастливой до беспамятства Екатерины Николаевны. Оно сразу вводит в сущность вопроса.

Его сиятельству господину обер-прокурору Святейшего синода графу Н. А. Протасову.

Милостивый государь, граф Николай Александрович.

Вступая с высочайшего дозволения в брак с поручиком лейб-гвардии кавалергардского полка бароном Геккерном, я соглашаюсь на его желание, чтобы дети, могущие последовать от нас, были крещены в его католическом исповедании. О чем вашего сиятельства для объявления где следует и имею честь уведомить.

С совершенным почтением имею честь быть

вашего сиятельства покорнейшею слугою

фрейлина Екатерина Гончарова.

.... декабря 1836».

Заявление это носит характер официального ходатайства. Разрешить отклонение от существующих законов о подданстве и вероисповедании мог, как мы видели, только сам император. К счастью для невесты, Николай относился всегда к Дантесу с особым благоволением. И вот, уже 20 декабря 1836 г. военный министр Чернышев уведомляет обер-прокурор Синода, что «государь император высо-

чайше повелеть соизволил: кавалергардского ее величества полка поручику барону Георгу-Карлу Геккерну дозволить при вступлении его в законный брак с фрейлиною высочайшего двора девицею Екатериною Гончаровою не принимать присяги на подданство России». Самый факт такого разрешения свидетельствовал о высоком расположении царя к «модному» кавалергарду.

У Дантеса при этом было только взято обязательство «не отвлекать будущей жены от православной греко-русской веры».

Оставался еще неразрешенным вопрос о потомстве.

И вот, синодальный обер-прокурор обращается непосредственно к императору за «высочайшим соизволением» освободить Геккерна «от обязательства крестить детей в православном исповедании». В то время полоса счастливых достижений Дантеса еще ничем не прерывалась. По официальной помете: «На подлинной его императорского величества собственной рукою написано карандашом: «о г л а с е н». 2 января 1837 г.».

Таким образом все препятствия были устранены, и 10 января 1837 года состоялось бракосочетание Дантеса с Екатериною Гончаровой.

III

Некоторые свидетельства семейной переписки в ближайшие месяцы после свадьбы проливают новый свет на историю романических отношений новобрачных.

Семейные письма Геккернов-Гончаровых явственно свидетельствуют, что через три месяца после своей свадьбы — в апреле 1837 года — Екатерина Николаевна Геккерн родила своего первого ребенка. В опубликованном П. Е. Щеголевым письме тещи Дантеса и Пушкина Н. И. Гончаровой от 15 мая 1837 года она пишет за границу своей дочери Екатерине:

«Ты говоришь в последнем письме о твоей поездке в Париж; кому поручишь ты надзор за малюткой на время твоего отсутствия. Останется ли она в верных руках? Твоя разлука с ней должна быть тебе тягостна».

Не может быть сомнения, что речь идет о новорожденном ребенке Екатерины Николаевны. В 1837 году она действительно родила девочку Матильду-Евгению, но только, по официальным сведениям, произошло это 19 октября 1837 г. Но этим сведениям, сообщенным внуком Екатерины Николаевны, Луи Метманом, не во всем можно верить. Тенденция Метмана всячески поднять престиж своей фамилии заставляет его многое замалчивать, а кое-что передавать неверно. Не может быть сомнения, что скандальный факт девичьего романа его бабки с Дантесом и рождение ею младенца на третий месяц замужества ни в коем случае не попал бы в его запись. Возможно, впрочем, что установленная дата рождения (19 октября) прочно вошла в быт семьи и не вызывала более никаких сомнений.

Факт рожденья маленькой Геккерн в апреле 1837 г. подтверждается также рядом писем посланника Геккерна и Екатерины Николаевны, относящихся к двадцатым числам марта 1837 года и адресованных только что высланному из России Дантесу. Так, 20 марта Екатерина Геккерн пишет мужу:

«Вчера, после твоего от'езда, графиня Строганова оставалась еще несколько времени с нами; как всегда, она была добра и нежна со мной; заставила меня раздеться, снять корсет и надеть капот, потом меня уложили на диван и послали за Раухом, который прописал мне какую-то галость и велел сегодня еще не вставать, чтобы побережечь маленького: как и подобает почтенному и любящему сыну, он сильно капризничает, оттого что у него отняли его обожаемого папашу; все-таки сегодня я чувствую себя совсем хорошо, но не встану с дивана и не двинусь из дому».

Целый ряд других указаний в письмах Геккерна и его новой невестки определенно указывают не на начальный, а на сильно подвинутый и даже, возможно, конечный период беременности. Спешный отъезд Геккернов из России объясняется, вероятно, тем, что рождение младенца могло надолго задержать их в Петербурге и разлучить с обожаемым Жоржем.

Таким образом, сопоставление и расшифровка этих дат ставит под вопрос традиционную версию о причинах, заставивших Дантеса жениться на Гончаровой. Согласно обычному мнению, Геккерны придумали эту женитьбу, чтобы успокоить Пушкина, избежать дуэли и аннулировать присланный им вызов. На самом деле Геккерны в данном случае только использовали положение вещей, создавшееся и помимо пушкинской картели. По свидетельству лучшего знатока последней дуэли Пушкина П. Е. Щеголева, «проект сватовства Дантеса к Екатерине Гончаровой существовал до вызова». Об этом имеются указания в письмах Жуковского, Геккерна-отца, Сергея Львовича и Ольги Сергеевны Пушкиных; судя по датировке писем, «по крайней мере во второй половине октября в Москву уже дошли слухи о возможной женитьбе».

Таким образом, брачная хроника великосветского Петербурга зарегистрировала в своих устных бюллетенях предстоящую новую свадьбу в самом начале осеннего сезона, т.-е., во всяком случае, до получения Пушкиным знаменитого диплома (4 ноября) и, стало быть, до его первого вызова. С этой стороны у Дантеса еще не было никаких причин свататься за старшую Гончарову. И, тем не менее, разговоры об этом шли, и причины — другого порядка — имелись налицо.

Причины эти для нас теперь ясны. Летом 1836 года, когда кавалергарды стояли в лагерях в Новой Деревне, а Пушкины, вместе с сестрами Гончаровыми, жили побли-

зости, снимая дачу на Каменном острове, у Дантеса произошёл роман с Екатериной Гончаровой, последствия которого скоро сказались и вызвали уже в начале осени слухи о предстоящем браке.

Таким образом, непонятная для многих женитьба блестящего кавалергарда на бесприданнице Гончаровой восходит не к дуэльной истории, а к романтическим обстоятельствам лета 1836 года, заставившим Дантеса уже в начале осени действовать, как подобает «честному человеку».

Только в свете этого факта получают раз'яснение многие загадочные документы дела. Вспомним конспективные заметки Жуковского о ходе ноябрьских событий.

«7 ноября. Я поутру у Загряжской. От нее к Геккерну (*Mes antecessants*. Неизвестное совершенное прежде бывшего). Открытия Геккерна. О любви сына к Катерине (моя ошибка насчет имени), открытие о родстве; о предполагаемой свадьбе. — Мое слово. — Мысль все остановить. — Возвращение к Пушкину. *Les revelations*. Его бешенство» и пр.¹

Не приобретают ли все эти темные обозначения необходимую ясность при учете летнего романа Дантеса и всех его последствий?

Вспомним, что Анна Вульф сообщила сестре Евпраксии (22 дек. 1836) о самых разнообразных версиях, об'ясняющих свадьбу Гончаровой. О некоторых из них она предпочитала, впрочем, сообщить сестре с глазу на глаз, не доверяя почтовой бумаге слишком интимных сообщений. Вскоре затем Вяземский в письме к О. А. Долгоруковой (7 апр. 1837) писал о той же свадьбе, что «не было никакого самопожертвования ни с той ни с другой стороны», очевидно намекая на необходимость женитьбы для Дантеса.

Совершенно правильно, думается нам, замечание Фри-

¹ Щеголев, 307.

зенгофа о том, что демонстративное ухаживание молодого Геккерна за Н. Н. Пушкиной после его женитьбы имело намерением «засвидетельствовать», что он женился не потому, что боялся драться, и что, если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого ¹.

Другими словами, Дантес, в целях реабилитации своего мужества и чести, намеренно провоцировал январский поединок. Существующее мнение о том, что дуэль была единолично решена Пушкиным без достаточных к тому оснований, требует коренного пересмотра. Неверно, будто «все хотели удержать Пушкина, он один того не хотел». Письмо посланника Геккерна к Н. Н. Пушкиной, свидание у Полетики, в которое, быть может, действительно путем обмана была вовлечена Наталья Николаевна, наконец,—и это главное—намерение Дантеса доказать фактом дуэли свое бесстрашие и опровергнуть сарказмы Пушкина насчет его «жалкой роли»,—вот что сделало кровавую развязку неизбежной. Не внезапный взрыв африканского бешенства, а сложный и неумолимый ход событий, направляемый рукою врагов Пушкина, заставил его 27 января выйти к барьеру и принять от безошибочного военного стрелка свою смертельную рану.

¹ Подтверждение этому мнению находим в других авторитетных свидетельствах современников: «Молодой Геккерн продолжал в присутствии своей жены подчеркивать свою страсть к г-же Пушкиной», пишет Вяземский вел. кн. Михаилу Павловичу. Аналогичное свидетельство находим в заметках Н. М. Смирнова: «Он (Дантес) не переставал волочиться за своей невесткой, он откинул даже всякую осторожность и, казалось иногда, что насмеяется над ревностью непримирившегося с ним мужа» («Рус. архив», 1882, I, 236).

ДАНТЕС И НИКОЛАЙ I

В январе 1837 года поручик кавалергардского полка барон Жорж Геккерн-Дантес совершил по тогдашним русским законам крупное уголовное преступление: он убил на поединке своего противника — Пушкина.

Убийца был иностранцем, убитый — придворным; это усугубляло ответственность за происшедшее.

К тому же убийца, как офицер гвардии, принадлежал к верхам русского военного мира; убитый же был знаменитый поэт с европейским именем, смерть которого вызвала целый рой дипломатических депеш и оживленнейший обмен мнений в иностранной печати. Это крайне повышало общественное значение дела.

Наконец, условия дуэли, делавшие неизбежным ее смертельный исход, квалифицировали поединок как особенно тяжкий. Это налагало на судей обязанность со всей строгостью определить степень вины и соответственно установить размер юридического возмездия.

Не даром Лермонтов решил поставить эпиграфом к своему знаменитому стихотворению «На смерть поэта» негодующий возглас:

Отмщенье, государь, отмщенье!
Паду к ногам твоим:

Будь справедлив и накажи убийцу.
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.

Это требование кары верно отражало господствующее впечатление от трагического события 27—29 января.

Русское законодательство 30-х годов шло навстречу этому общественному негодованию: оно ставило подсудимого Дантеса под страшную угрозу смертного приговора.

По тогдашним русским законам, сохранившим в этом вопросе постановления XVIII века, дуэль каралась виселицей. (Это распоряжение восходило еще к воинским уставам Петра.) Закон был совершенно беспощаден и, предвидя все случаи, постановлял о дуэлянтах, что «их надлежит и по смерти за ноги повесить».

В полном согласии с духом и буквой петровского устава, военно-судная комиссия категорически постановила «подсудимого, поручика Геккерна, по силе 139 Артикула воинского сухопутного устава, повесить».

Но приговор подлежал заключению высших военных чинов. Считаясь с духом новой эпохи, они предлагали смягчить суровость устаревшего кодекса. Обращаясь «к монаршему милосердию», командиры гвардейских полков полагали достаточным разжаловать Дантеса в рядовые без выслуги, с определением в дальние гарнизоны (т.-е. в Сибирь или на Кавказ), после предварительного шестимесячного заключения в каземате. Наиболее мягкий вариант допускал выслугу при боевых отличиях.

Даже в этом случае Дантес понес бы весьма чувствительную и тяжелую кару. Мы знаем, что и по менее серьезным поводам она широко применялась в то время к русскому офицерству. Но не такова была воля царя. Высочайшая конфирмация, сохраняя внешнюю видимость наказания,

в сущности, сводила его к нулю. На докладе генерал-аудиториата Николай I написал:

«Быть по сему, но рядового Геккерна, как не русского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты».

Этот приговор, по безнаказанности убийцы, произвел на многих ошеломляющее впечатление. Даже культурнейший европеец, тонкий и благожелательный Тютчев, был изумлен этой симуляцией наказания. Известно его острое словцо при получении известия о царском приговоре по делу Дантеса:

«Пойду, убью Жуковского».

Таким образом, приговор Николая несомненно свидетельствовал об исключительной благожелательности императора к Дантесу. Не даром посол Геккерн писал за границу: «Разжалование в солдаты не имеет никакого значения, это — проформа»¹.

Мягкость приговора позволяет предположить, что разжалование было вынужденным ответом на требование общественного мнения, и если бы Николай мог в данном случае выражать свою подлинную волю, Дантес оказался бы свободен и от этой внешней формы уголовной санкции².

Это обращает нас к любопытному вопросу об общем отношении Николая I к Дантесу. В изучении последней дуэли Пушкина факт личной приязни императора к блестящему кавалергарду еще недостаточно обследован. А, между тем, он далеко не безразличен для истории печальнейшего из поединков.

¹ См. П. Е. Щеголева. Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е, 1928, стр. 343.

² Симпатии царя к Дантесу были учтены много лет спустя в 1852 г., президентом Французской республики Луи Бонапартом, поручившем именно Дантесу переговоры с Николаем I о готовящемся государственном перевороте во Франции— провозглашении империи.

Попытаемся, хотя бы в общих чертах, выяснить характер этих отношений.

С момента приезда в Россию Дантес попадает под покровительство Николая. Высокие рекомендации, привезенные этим молодым роялистом, сразу же привлекают к нему высочайшее благоволение. Недоучившийся юнкер, получивший в Берлине решительный отказ при его попытке вступить офицером в прусскую армию, через четыре месяца по приезде в Россию уже был принят офицером в самый аристократический полк, состоящий под шефством ее императорского величества.— «Гвардия ропщет», — записал по этому поводу в своем дневнике Пушкин, но с этим ропотом не считались. Дантес, как известно, был неважный офицер, но это не мешало Николаю I беспрестанно отличать его. Из формулярного списка Дантеса видно, что он за смотры, учения и маневры удостоился получить «высочайшие благоволения, об'явленные в высочайших приказах» (в 1834 году их было девять, в 1835 году — двенадцать и 1836 году — пятнадцать). Из этих цифр видно, что милость царя не переставала прогрессивно расти.

Наступил роковой 1837 год. Дуэльная катастрофа, как мы видели, дала широкую возможность царю проявить всю свою благожелательность к блестящему кавалергарду, ставшему убийцей первого русского писателя.

Эта симпатия Николая I к Дантесу, небезразличная и для истории смерти Пушкина, впоследствии неоднократно подтверждалась новыми данными. В этом отношении представляет интерес имеющееся у нас неопубликованное письмо Дантеса к Николаю I, проливающее новый свет на характер этих отношений и ярко освещающее обе эти исторические фигуры.

Письмо это вызвано денежными счетами Дантеса

с семейством Гончаровых. Нам известно, по недавней публикации, что Дантес настоятельно требовал от своих шурьев якобы следуемые ему недоплаченные суммы по приданому его покойной жены Екатерины Гончаровой и даже не остановился в 1848 году перед пред'явлением к ним официального иска¹.

Но до сих пор мы не знали, что для достижения своих целей и для выигрыша своего гражданского иска Дантес решил прибегнуть к совершенно исключительным мерам. Не полагаясь на юридические доводы, он привел в движение сложные политические пружины, способные обеспечить ему полную победу. Он вспомнил о своем старинном благожелателе и не постеснялся привлечь к своему частному денежному делу представителя российской верховной власти, который мог действовать приказом там, где закон отказывался действовать. Дантес, видимо, хорошо запомнил историю своего поступления в русскую гвардию.

И вот он обращается непосредственно с целым рядом писем к Николаю. Приведем одно из них, сохранившееся в архивах б. министерства иностранных дел.

Paris le 14 octobre 1851.

Sire!

Depuis deux ans, j'ai pris la respectueuse liberté d'adresser à Votre Majesté différentes suppliques pour me plaindre de la conduite des parents de feu ma femme à l'égard des 4 enfants que j'ai de mon mariage. Je me berce encore de l'espoir, qu'elles n'ont jamais été remises à Votre Majesté, car la bienveillance dont Elle a daigné m'honorer en toute occasion, me fait penser qu'elle aurait daigné me faire faire une reponse.

Ma situation devient tellement critique que je n'hésite pas à tenter une nouvelle demarche.

Depuis 4 ans, Sire, je suis sur la brèche, je lutte avec ma plume et ma parole contre les misérables insensés, qui ont la folle pretension de régénérer

¹ В. С. Нечаева. Дантес (по материалам Гончаровского архива). «Московский пушкинист», I, 1927.

l'Europe. Le moment approche où il faudra probablement mettre au service de notre cause et son bras et sa vie. Je suis décidé à le faire et je le ferai! Mais auparavant j'ai un devoir non moins sacré à remplir, c'est celui de songer au sort de mes enfants, qui n'ont que moi au monde.

Je viens donc supplier Votre Majesté de vouloir bien donner des ordres pour que mes beaux-frères, qui me doivent légalement plus de 80.000 francs d'arrérages sur la pension qu'ils étaient engagés à payer à leur soeur, soient obligés de me verser une somme de 25.000, somme qui m'est absolument nécessaire pour prendre des arrangements sérieux: consentant volontiers dans ce cas à faire bon marché du reste des arrérages auxquels j'ai droit.

Daignez agréer, Sire, l'expression du dévouement le plus absolu avec lequel je suis de Votre Majesté le très humble et très obéissant serviteur.

G. de Heeckeren,

M-bre de l'Assemblée législative
à sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies.

Государь!

Вот уже два года, как я взял на себя личительную свободу направлять к вашему величеству различные прошения, чтоб принести жалобы на поведение родных моей покойной жены по отношению к четырем детям от моего брака с нею. Я все еще баюкаю себя надеждой, что они ни разу не были доставлены вашему величеству, ибо благоволение, которым оно удостаивало отличать меня во всех случаях, заставляет меня думать, что оно удостоило бы распорядиться об ответе мне. Положение мое становится настолько критическим, что я не колеблюсь сделать попытку нового выступления.

Вот уже четыре года, государь, как я нахожусь в борьбе, как я сражаюсь пером и словом против жалких безумцев, имеющих безрасудное притязание переродить Европу. Приближается момент, когда придется, вероятно, отдать на служение нашему делу и свои руки, и свою жизнь. Я решился это сделать, и я это сделаю! Но до этого я должен выполнить не менее священное обязательство — это подумать о судьбе моих детей, никого, кроме меня, на свете не имеющих.

Я обращаюсь поэтому к вашему величеству с мольбой не отказать в отдаче приказов, чтобы мои шурья, которые должны мне по закону более 80 000 франков доходов с той ренты, которую они обязались выплачивать своей сестре, были принуждены ушлатить мне сумму в 25 000, которая мне совершенно необходима, чтобы предпри-

нять важные шаги: в этом случае я охотно соглашусь на уступку остатка доходов, на которые имею право.

Соблаговолите, государь, принять выражения самой полной преданности, с каковой я пребываю вашего величества смиреннейшим и покорнейшим слугою.

Ж(орж) де Геккерн,

член законодательного собрания.

Его величеству императору всероссийскому.

Письмо это чрезвычайно характерно для Дантеса.

По совершенно частному делу — по вопросу о семейном разделе и наследственных расчетах — он решает, помимо гражданского суда, обратиться к верховной власти, настоятельно испрашивая у ее представителя «приказов» об уплате ему весьма спорных сумм. В чисто личных корыстных целях он не останавливается перед ссылкой на свои политические убеждения, взывая к реакционным симпатиям Николая и выдвигая свои заслуги по борьбе с европейской революцией. Он бросает прозрачные намеки на необходимость финансировать европейскую контрреволюцию и завершает свое письмо рассчитанным эффектом — указанием на свое политическое влияние, как «члена законодательного собрания». Государственная деятельность и партийная борьба одинаково служат аргументами в пользу оплаты пред'явленного иска. Как ни жалка была подобная позиция, она возымела на первых порах полный успех: Дантес знал, к кому он обращался.

Николай отнесся к просьбе своего давнишнего протезе с величайшим вниманием и реагировал на нее с максимальной распорядительностью. Он пустил в ход самые сильные средства, какие имелись в его руках.

11 марта 1852 г. «статс-секретарь у принятия прошений» Голицын сообщал вице-канцлеру Нессельроде:

Его императорское величество, по всеподданнейшему докладу моему о сем, высочайше повелеть соизволил: просьбу барона Геккерна препроводить к генерал-ад'ютанту графу Орлову,

для принятия возможных мер, чтобы склонить братьев Гончаровых к миролюбивому с ним соглашению, а на производство дела о наследстве малолетних детей барона Геккерна в имени умершей их бабушки обратить внимание министра юстиции.

В ход, как мы видим, были пущены самые сильные рычаги: совершенно частное дело, подлежащее низшей судебной инстанции, ставилось под непосредственный надзор высшего в государстве блюстителя законов — самого министра юстиции; незначительный вопрос о фамильных счетах, не имевший и тени политического значения, подводился под грозное воздействие начальника III отделения, знаменитого шефа жандармов Орлова, словно дело шло о революционном заговоре или антиправительственной пропаганде.

Это был, конечно, просто метод устрашения. Одно имя главы верховной политической полиции или название возглавляемого им учреждения наводило ужас и трепет. Расчет оказался безошибочным.

24 сентября 1852 г. русский посланник в Париже Киселев на бланке «императорского русского посольства» извещал Дантеса о последовавшем по его делу приказе императора. Он излагал ему общий ход дела, в результате которого братья Гончаровы не отказывались от выполнения принятых ими на себя обязательств. Дополнительно посол сообщал, что в московской дворянской опеке находится до 2 000 рублей серебром, внесенных опекуном имени Гончаровой, «и деньги сии могут быть выданы барону Геккерну по его востребованию; часть же, следующая детям его, из имени Гончаровой в количестве 124 душ крестьян, поступит в их распоряжение в продолжение сего года»; наконец, «детям барона Геккерна, по справедливости, следует выдать с 1844 г. по 1 500 рублей в год».

Шефу жандармов Орлову было неудобно отказывать, и мы видим, что должники Дантеса пошли на максимальные уступки. Русский посол в Париже, впрочем, умалчивал,

что братья Гончаровы представили также документы о выдаче ими их сестре, баронессе Геккерн, с 1832 — 1846 гг. более 45 тысяч, что в 1837 г., например, «она получила при выходе в замужество единовременно 11740 руб. асс., о получении которых неизвестно почему он, Геккерн, вовсе умачивает».

Но в платежах произошли снова задержки.

7 декабря 1852 г. чрезвычайный посланник и полномочный министр Франции в Петербурге маркиз де-Кастельбаск обращается в русское министерство иностранных дел с заявлением, что обязательства, данные Киселевым в его письме, остаются невыполненными, и «быстрое разрешение, которое должны были получить споры барона Геккерна с его шурьями по приказу его императорского величества», не осуществилось. Посол настаивает на уплате заявленных сумм.

Эта «нота» французского посольства, как называли письмо представителя Франции в русских канцеляриях, невольно обращает внимание на обстановку этого денежного процесса.

Дантес, как мы видим, умел устраивать свои дела. Он не ограничивается специальным поверенным, неким Францом Мюллером, ходатайствующим в обычном порядке в судах и опеках: его юрисконсультом в России оказывается сам министр юстиции Панин; в роли судебного пристава выступает по его делу шеф жандармов Орлов, послы России и Франции становятся юридическими агентами в его тяжбе; наконец, его главный доверенный и активный уполномоченный по всему делу сам император Николай.

Кто еще мог бы похвастать таким сильным правовым представительством?

Дело, очевидно, было безнадежно для Гончаровых. Тем удивительнее, что в конечном счете восторжествовали в этом

организованном насилии логика, законное право и простая житейская справедливость.

Вот как закончилось это дело.

После перерыва в несколько лет, 2 марта 1858 г., французское посольство в Петербурге, в лице своего нового представителя, поверенного в делах маркиза Шаторенара, возобновляет дело Геккерна обращением к сенатору И. М. Толстому. Сенатор обращается к новому начальнику III отделения Долгорукову, который в отличие от своего «предместника», ознакомившись с делом и с объяснениями Гончаровых, не находит возможным приступить снова к отобранию сведений у Гончаровых и предлагает истцу обратиться в обычном порядке к московскому гражданскому губернатору, т.-е. по месту дворянской опеки над именем Гончаровых.

После новых обстоятельнейших бумаг, докладов, счетов и отчетов московский гражданский губернатор сообщил 15 сентября 1858 г., что «претензия мужа умершей баронессы Геккерн о выдаче детям его сверх полученных покойною женою его денег на содержание их более значительных сумм, согласно донесению опекуна Сергея Гончарова, признаваемому опекою справедливым, в настоящее время в уважение принята быть не может».

Этот ответ был буквально сообщен французскому посланнику для передачи его Дантесу-Геккерну. Таким образом, дело его было проиграно.

Чем объяснить это фиаско?

Прежде всего тем, что покровителя и защитника интересов Дантеса императора Николая давно уже не было в живых. Покорные исполнители его воли также были смещены. После Крымской войны отношения к Франции были весьма прохладны. Парижский сенатор уже мало импониро-

вал русскому правительству. Крупным политическим осложнениям и историческим событиям обязаны братья Гончаровы справедливому торжеству их интересов в споре с Дантесом.

Со смертью Николая I влияние Дантеса в России было исчерпано. Вскоре, с падением империи в 1870 г. ему пришлось закатиться и во Франции.

1928

ПУШКИН В 1823 ГОДУ ¹

I

... Сто лет назад в Европе было так же тревожно, как и в наши дни. История была не менее чревата тогда неразряженными революциями и готовыми прорваться войнами. Необычайное оживление международной жизни сопровождалось, как всегда, крупными внутренними осложнениями. Только что, по слову Пушкина, «в неволе мрачной закатился Наполеона грозный век». Только что отошла эпоха великих походов, перепавших всю почву Европы, и наследием этих грандиозных народных передвижений остались повсеместно взрывчатые скопления восстаний и мятежей, снова бороздившие во всех направлениях материк.

Тряслися грозно Пиренеи,
Вулкан Неаполя пылал, —

¹ Из речи, произнесенной на заседании Пушкинской Комиссии Общества любителей российской словесности 8 июня 1923 года.

Во вступлении к речи указывалось, что «как ни трудно в истории поэта определить краткий хронологический этап, часто совершенно не совпадающий своими условными гранями с обширными эпохами его творческой мысли, как раз 1823 год в жизни Пушкина допускает в известном смысле самостоятельное изучение, особенно если в некоторых случаях мы позволим себе чуть-чуть раздвинуть строго отмеченные календарные вехи одного годового периода»,

вспоминал впоследствии Пушкин это бурное время, воспламенившее своим революционным огнем весь европейский мир — «от Царскосельских лип, до башен Гибралтара»...

В такие эпохи впечатлительность поэтов повышается, и мысль их работает особенно напряженно. Недавно первый поэт нашей бурной эпохи — Александр Блок писал об одном древнем лирике, «латинском Пушкине» — поэте Валерии Катулле, жившем в Риме во времена Катилины:

«Личная страсть Катулла, как страсть всякого поэта, была насыщена духом эпохи; ее судьба и ритм, и размеры так же, как ритм и размеры стихов поэта, были внушены ему его временем; ибо в поэтическом мире нет разрыва между личным и общим: чем более чуток поэт, тем неразрывнее ощущает он «свое» и не «свое». Поэтому в эпохи бурь и тревог, нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта так же переполняются бурей и тревогой».

И не только бурей и тревогой, но и глубокими раздумьями о смысле исторического процесса, о значении расовых столкновений, о противопоставлении основных сил всемирной трагедии. Для русского поэта эти тревоги неизбежно должны были вылиться в раздумья о Западе и Востоке, об Азии и Европе, об облике и призвании России. Это — темы нашего времени, мы к ним привыкли, их остро поставили перед нашим сознанием величайшие поэты и мыслители современности. Но можно ли было ставить их сто лет тому назад, и имеем ли мы право ожидать их от величайшего поэта того времени?

На первый взгляд может показаться, что Пушкин в свой южнорусский период, занятый «Гавриладиой», эпиграммами, подражаниями Парни, пародиями на Библию, был совершенно свободен от этих сложных историко-философских проблем. Но стоит взглянуть в его страницы, чтоб почувствовать в них этот мощный прибой современности,

напрягающий мысль поэта и сообщающий свой взволнованный ритм его строфам.

Пушкин начала 20-х годов, недавний «Сверчок» Арзамаса, беспечный волокита, «почетный гражданин кулис», автор фривольных поэм, ценитель анекдота и мадригала, не переставал томиться развертывающейся перед ним всемирно-исторической драмой. В его произведениях той поры настойчиво проходят эта волнующая тема столкнувшихся устремлений мировой истории, эта великая проблема Востока и Запада, Азии и Европы, огромных и словно скованных сил восточных деспотий и возрождающего духа новой вольницы, возникшей из окровавленных мостовых Парижа, чтобы докатиться «до Царскосельских лип»...

Все это глубже всего сказалось к концу пушкинского пребывания на юге, перед его новым переездом в село Михайловское.

II.

1823 год в жизни Пушкина — необычайный, богатый переломный год, словно связывающий оба основных периода пушкинских Wanderjahre. В самом начале июля поэт навсегда покидает Кишинев и поселяется в Одессе: в этом смысле 1823 год разрезан, как плод ножом, на две совершенно одинаковые доли.

Но равные в календарном отношении, они глубоко различны в своем составе.

В Кишиневе продолжалась общая полоса впечатлений и переживаний, возникших еще в Крыму. После холодных форм петербургского европеизма — знойная и пестрая столица Бессарабии представляла живописнейшую племенную смесь, богато расцвеченную разнообразными этнографическими элементами. Это был вполне азиатский город, в толпе которого турецкие чалмы-тюрбаны и красные греческие

фески решительно преобладали над европейскими головными уборами, а гортанные звуки всевозможных восточных наречий заглушали еще непривычную русскую речь.

Круг пушкинских знакомств должен был неизбежно захватить этих разноплеменных представителей местного общества. И стоит вспомнить одни только имена пушкинских возлюбленных этого времени, чтоб сразу почувствовать какую-то необычную атмосферу сказочных нравов и полуфантастического быта. Все эти Мариулы Рали-Земфираки, Шокоры-Людмилы Инглези, Аника Сандулаки, Пульхерица Варфоломей, Калипсо Полихрони или, наконец, трактирная прислужница Мариолица, певшая Пушкину молдавский романс про «Черную шаль», — одни эти имена создают звуковую картину необычайной экзотической музыкальности.

И мы знаем, что все эти переливные звуки молдавских или новогреческих фамилий вполне соответствуют особенностям красочного быта их носительниц. Тяжелые турецкие шали, накрашенные лица, подведенные «сурьмой» глаза, тесные комнаты, усталые ковры, где даже было принято сидеть по-турецки — «подогнув под платье ноги» во время обильного угощения вареньями, пряными шербетами и турецким кофе — так по-оперному красочно разворачивался быт бессарабских бояр и кукониц, к которому с таким жадным интересом присматривался молодой русский байронист.

В пушкинском Кишиневе с его сгущенным ориентализмом было нечто от Константинополя или даже от Багдада, и неудивительно, что в этой атмосфере сама жизнь поэта принимает такой странный, полуфантастический характер авантюрного романа с необычайными любовными похождениями — нелепыми дуэлями, цыганскими кочевьями, странными переодеваниями... Все эти экзотические костюмы, нравы и эпизоды производят впечатление какой-то волшебной сказки, богатой приключениями и вымыслами, — и все это только глава из биографии Пушкина.

Сам поэт называл эту главу А з и е й. Переезд в Одессу означал для него возвращение в Европу. Письма его полны этих противопоставлений азиатской Бессарабии черноморскому Западу. Своеобразный быт новорожденного городка с его итальянской оперой, концертами, кафе, ресторанами, маскарадами, большими приемами у Воронцова, заморскими винами, иностранными газетами и непрерывными свежими новостями с прибывающих кораблей, не мог не поразить его после бессарабского содома.

Этот новороссийский клочок Европы носил свои особые черты. Он, конечно, не напоминал Петербурга с его матовым немецким укладом, а представлял собою скорее яркий отрывок романского мира, знойный, полуденный юг Европы, столь милый Байрону, Мюссе и Мериме. Долгая опека Ришелье наложила на город определенно французский отпечаток: во главе лица стоял знаменитый педагог того времени аббат Николь, и долгое время преподавание в лицее шло на французском языке. Первые одесские газеты издавались на том же языке. Впоследствии французский поэт Альфонс Шапелон, отец памятного многим из нас Огюста Шапелона, лектора французского языка в Новороссийском университете, дал меткую стихотворную формулу:

Odessa par Richelieu
Est d'origine française.

Пожалуй, еще заметнее здесь было итальянское влияние. Обилие и многочисленность итальянской колонии—своеобразная черта старой Одессы. Долгое время здесь сохранялись погребки под живописными вывесками *contini con diversi vini*. Как известно, несколько лет в Одессе жил сам Гарибальди, имея здесь свой коммерческий корабль. С первых же десятилетий существования города здесь имела превосходная итальянская опера, где культивировался молодой Россини и где выступала знаменитая Каталани.

Гостиница, где поселился Пушкин в Одессе на Итальянской улице, известна обычно по фасаду—дому рядового европейского стиля начала столетия. Но стоит войти в крутой двор, идущий под гору, и мы сразу переносимся в Италию XVIII века: крытые внутренние дворики под каменными арками, с вычурными висячими фонарями над входом, сводчатые ниши, стеклянные галереи — все это создает впечатление старой итальянской австерии, в которой действовала какая-нибудь Мирандолина из старинной комедии Гольдони.

В городе, как в средневековых итальянских муниципиях, господствовало несколько известных фамилий. Культурный уровень общества был высок. Ризнич был воспитанником падуанского и берлинского университетов, тонкой образованностью отличались и французский консул Сикар, и философ - англичанин Гунчисон, дававший Пушкину уроки атеизма. В городе были литературные салоны, при губернаторе состоял поэт Туманский. Наконец, сам Воронцов, один из образованнейших генералов александровского времени, с такой симпатией изображенный Львом Толстым в «Хаджи-Мурате», придавал высокий культурный стиль общественной жизни города.

Не даром Пушкина влекло в этот маленький центр. Книжки, газеты, театр, иностранное общество, французский лицей — все это действительно пленило и освежило его после трех лет бессарабского заточения. Так сам он воспринял этот перелом в своей жизни: Кишинев — это Молдавия, это пустыня, это глухой Восток, это Азия, где ему пришлось жить между гетов и сарматов. Одесса — это Европа, это почти что переезд за границу, непосредственное прикосновение к Италии златой.

Здесь все Европой дышит, веет...

«Надо подобно мне,— писал Пушкин Тургеневу, — про-

вести три года в душном азиатском заточении, чтоб почувствовать цену и невольного европейского города...»

Вот почему именно отсюда Пушкина начинает неудержимо тянуть в Европу. Близость Средиземного моря, непосредственное ощущение классической древности благодаря оживлению археологических раскопок по всему Черноморью — все это не переставало усиливать связи молодого городка с художественной историей и творческим прошлым Европы. Теплые волны Средиземия словно докатывали сюда предания многовековых драгоценных культур своих изрезанных побережий, и в этом соседстве Греции и Малой Азии, в этом вечном соприкосновении с Италией и Францией как бы чувствовались благодатные веяния прозрачного воздуха античности и возрождения.

Все это повышало европейскую ностальгию Пушкина, усиливало в нем влечение к Бренте, к Адриатическим волнам, к стране Петрарки.

III

Эта смена двух исторических стилей в жизни Пушкина отразилась на его творчестве.

Восток с его легендами, с его зноем, его чувственностью, его мифологией разработан в «Гаврилиаде», написанной в Кишиневе в 1821 или в 1822 году. Библийские сказания и евангельские апокрифы положены в основу этой шутилой поэмы в кощунственном старофранцузском жанре. Образы, имена, метафоры, картины, непрерывное мерцание красок — здесь все дышит священными книгами и источает характерную пленительность ориентальной поэтики. Сам автор ссылается в поэме на «армянское предание» и роняет такой характерный стих:

Творец любил восточный пестрый слог...

«Гаврилиаду» возводят обычно к образам Парни и Вольтера, но многое напоминает в ней древние поэмы

и словно восходит к Гомеру. Такова небывалая у нас картина любви природителей в Эдеме—

Под сенью пальм, где юная земля
Любовников цветами покрывала...

По силе и картинности изображения эту пушкинскую страницу можно, кажется, сравнить только с описанием любви олимпийцев в Илиаде:

Так произнесши, Кронид заключает супругу в объятья,
Тотчас под ними земля возрастила цветущие травы,
Лотос, покрытый росой, и шафран, и цветы гнацинта,
Нежные, пышно-густые высоко-вадымавшие стебли,
Там они оба легли, золотым осененные сверху
Облаком дивным, откуда сверкая роса ниспадала...

Картины такой первобытной свежести, такой первоначальной гомеровской или библейской наивности, такого прозрачного и пышного доисторического Востока разворачивает Пушкин в своей шутливой пародии. Вскоре он изобразит восточность в ином плане и в своих «Цыганах» отразит унылый, мрачный, трагический ориентализм современного блуждающего племени, «отверженной касты индейцев, называемой пария», как определяет он в предисловии к поэме, где переживания страсти протекают не под лотосами Эдема, а «под издранными шатрами» пустынных бессарабских кочевий.

Но с переездом Пушкина в Одессу заметно выступает его интерес к другому миру, к другим темам, к другому циклу образов и раздумий. Характерно, что уже осенью 1823 г., т.-е. в первые же месяцы своей одесской жизни, еще далеко не изжив бессарабского ориентализма, Пушкин принимается за «Онегина», т.-е. за изображение самого утонченного европеизма его эпохи. В стройных, сжатых и строго дисциплинированных строфах, точных, как математическая формула, и блистательных, как страница Дядро, поэт

развертывает глубокое и сложное явление русского дендизма, полярно враждебное всякой стихийности, зыбкости, всему восточному или скифскому.

Дендизм на Западе был глубоким эстетическим течением, стремившимся перенести «идею прекрасного» в материальную жизнь и предписать законченную и совершенную форму изменчивым человеческим нравам. Неудивительно, что наиболее изощренные и выдающиеся умы нескольких поколений отдавались этому течению — Байрон, Стендаль, Бодлер, Барбе-д'Орвильи, у нас — Чаадаев, Грибоедов и Лермонтов.

Но глубже всех захватил это умственное течение эпохи создатель образа первого русского «денди» Онегина, полнее всего раскрывший трагизм русской души, зачарованной высшим проявлением современной западной жизни.

Так тему Востока и Азии сменила в сознании Пушкина новая тема Запада и Европы, менее яркая и красочная, но, может быть, более сложная и психологически трудная.

IV

Две эти основные темы, ясно звучавшие в жизни Пушкина в 1823 году, переплетаются в одной из его прекраснейших поэм — в «Бахчисарайском фонтане». Первоначально озаглавленная «Харем», украшенная восхитительным эпиграфом из Саади, напоенная ленью поэтического ориентализма, она словно целиком посвящена Востоку.

А между тем за этими розами, коврами и стихами Корана явственно ощущается и невидимо растет другая, не менее господствующая тема — тема Запада, вступившего в борьбу с духом Азии и медленно одолевающего его. Через всю поэму, непрерывно скрещиваясь и переплетаясь, проходят эти две доминанты, создавая своеобразнейшее

целое. Уже с первых строк поэмы раздается вопрос о грозном хане:

Страшится ли народов гор
Иль козней Генуи лукавой?..

В поэме две героини: одна — рожденная близ Кавказа, другая — польская княжна. Быту гарема противопоставлена картина польского замка XVIII века с его старинной праздничностью, толпой вельмож и магнатов, задорной гордостью вольных шляхтичей и острой грацией польских женщин. Пушкин любил этот красивый, беспечный, легкомысленный, высоко-изящный мир старой Польши, с ее костелами и зубчатыми замками, впоследствии с таким искусством воспроизведенными в «Борисе Годунове».

В «Бахчисарайском фонтане» уже брошен первый очерк сандомирских пиров, полонезов и свиданий.

Но чем пленительный эта утонченная католическая Европа, тем страшнее ее столкновения с темными полчищами Востока:

Давно ль? И что же! тьмы татар
На Польшу хлынули рекою...

Восток захватил и одолел Запад. «Дворец Бахчисарая скрывает юную княжну»... Но Запад утверждаетя на Востоке: в ханском дворце, в помещении гарема —

День и ночь горит лампада
Пред ликом девы пресвятой...

В обстановке восточной страстности, тяжелой телесности, чувственных утех, среди шелков, бассейнов и роз возникает киот, смущающий самого грозного хана. Поистине в «Бахчисарайском фонтане» поставлена та неисследимая тема страсти и духовного подвига, которую новейший поэт назвал «Роза и Крест».

И в заключении поэмы — этот странный образ мрамор-

ного фонтана, воздвигнутого кровавым опустошителем
в память горестной Марии:

Над ним крестом осенена
Магометанская луна...

Поэма Пушкина — это какой-то «западно-восточный диван», где непрерывно переплетаются эти лейт-мотивы Восхода и Заката, Грузии и Польши, Луны и Креста. В заключении поэмы новой антитезой мелькает на мгновение шумный Петербург среди картин сонной Тавриды:

Покинув север, наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвеньи дремлющий дворец...

Так на протяжении целой байронической поэмы не перестает переливаться эта антитеза ранней пушкинской поры.

Мы видим, что в южнорусских поэмах Пушкина невидимо присутствует великая проблема Востока и Запада. Если для Байрона, для Виктора Гюго, для Мюссе ориентализм есть новый своеобразный поэтический прием,— для русского поэта этот уклон романтизма сразу поднимается до значения исторической и философской темы. Не даром тогда же им написан отрывок «Недвижный страж дремал на царственном пороге»... Недоконченный фрагмент не оставляет сомнения в его основной мысли. В стихотворении противопоставлены в лице Александра и Наполеона не только две основные силы, творившие историю, но и два полярных течения власти: замкнутая восточная деспотия и пробудившаяся на Западе безграничная воля народов. Владыка Севера надменен и самоупоен своей безграничной мощью, сковавшей дух западной революции:

...Жребии земли
В увенчанной главе стесненные лежали,

Чредою выпадали
И миру тихую вестью в дар несли.

И как великолепно развернут здесь размах этой европейской реакции, идущей из тогдашнего Петербурга:

От Тибровых валов до Вислы и Невы,
От Царскосельских лип до башен Гибралтара,
Все молча ждет удара —
Все пало, под ярем склонились все главы.

Поэт с негодующим вдохновением воспроизводит этот железно-неумолимый голос мировой реакции:

Давно ли ветхая Европа свирепела?
Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал?
За Пиренеями давно ль судьбой народа
Уж правила свобода,
И самовластие лишь Север укрывал?
Давно ль — и где же вы, вожители свободы?
Ну что ж? Витийствуйте, ищите прав природы,
Волнуйте, мудрецы, безумную толпу.
Вот Кесарь, — где же Брут? О, грозные витии,
Целуйте жезл России
И вас поправшую железную стопу.

И в ответ на этот вызов является венчаный воин Великой французской революции:

Свершитель роковой безвестного вѣленья,
Сей всадник, перед кем склонилися цари,
Мятежной вольницы наследник и убийца...
.
Во цвете здравия, и мужества, и мощи
Владыке полунощи
Владыка Запада грозящий предстоял.

Тема поставлена совершенно четко. Мысль Пушкина ясна, несмотря на незаконченность отрывка. Дух Запада, дух освобожденной мысли, пафос новой вольности и свободного гражданства — вот, что неминуемо сокрушит железную пята владыки Севера.

В 1823 году Пушкин уже явственно выходит из юношески - бездумного увлечения «вольнолюбивостью». У него срываются подчас ноты скептицизма, спокойного раздумья, холодной критики. Стихотворение «Свободы сеятель пустынный» свидетельствует, что он уже трезво размышлял о кумире свободы и улавливал здесь не одну только красоту. Но этот голос рассудка ни на мгновение не ослабляет в нем того чувства личной приверженности к молодой, восстающей, смело несущейся в будущее Европы, которая в южнорусскую эпоху пушкинской биографии так отчетливо откристаллизовалась в художественно-философскую антитезу Востока и Запада.

Всматриваясь с какой глубиной и смелостью поставлена эта проблема в пушкинских произведениях 1823 года, невольно вспоминаешь бессмертную формулу Аполлона Григорьева: «Пушкин—наше все». Основоположные течения, резко разделявшие впоследствии русскую мысль, уже поставлены им не только в местном, русском, национальном плане, но и в обширных перспективах европейской истории минувших и грядущих столетий.

Вот почему, когда впоследствии Аксаковы и Хомяковы спорили с Герценом и Белинским, когда Достоевский громил Тургенева, когда Тютчев строил свои обширные философские сопоставления России и Европы, когда великий вопрос о двух культурных мирах предстал сознанию русских символистов, когда, наконец, тема мирового значения России отливалась в новую проблему «Евразии» — все эти философские варианты наново разрабатывали ту поразительную интуицию всемирно-исторического процесса, которая запечатлена в образах и строфах юного Пушкина.

Вот почему, вступая в мир его поэм, мы обращаемся к нашему вечному современнику.